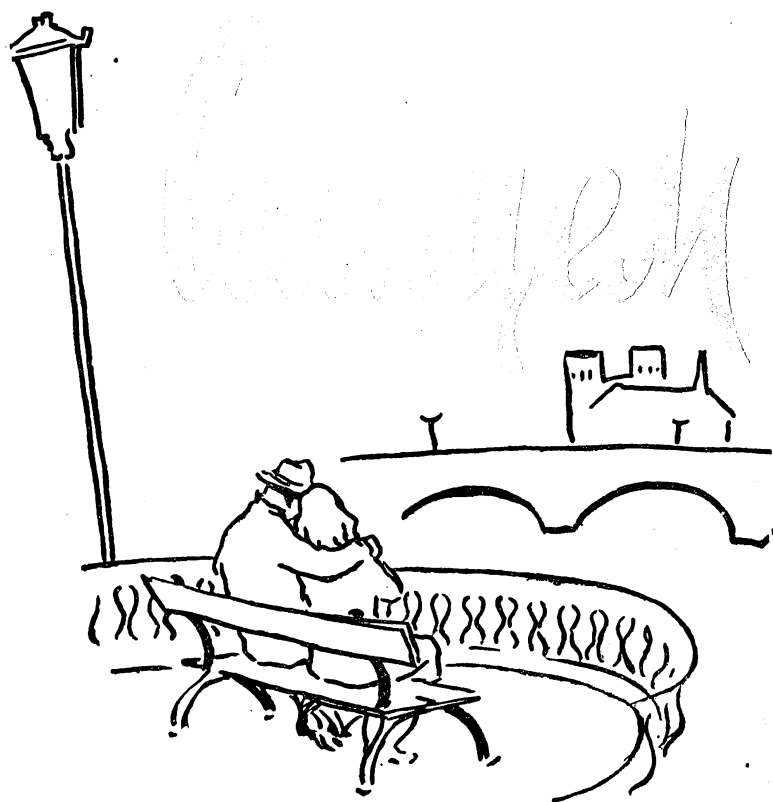


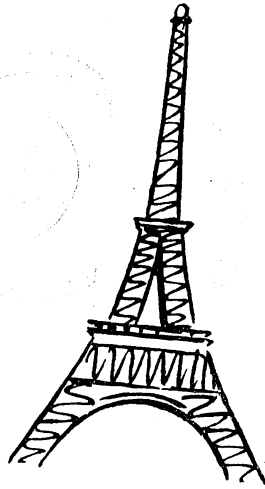


Саміцеў моіна іаюва

ИВ МОНТАН

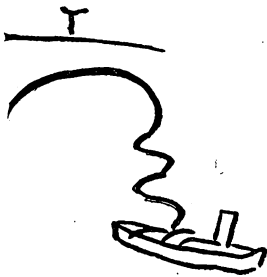
ИВ МОНТАН





НАША ВОЛНА

Перевод
В. Образцова
и К. Кузнецова



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1956

JVES MONTAND
«DU SOLEIL PLEIN LA TÊTE»
(Souvenirs recueillis
par Jean Denys.)

ПЕВЕЦ ПАРИЖА

В конце пятьдесят третьего года вместе с группой советских актеров я выехал из Лондона в Париж. В Дувре наш поезд по кусочкам влез в большой двухэтажный паром и поплыл в Дюнкерк. Это было ночью. Я не спал. Стоял на верхней палубе, смотрел в блестящую черную воду.

Дувр — Дюнкерк. Эти два слова высечены в памяти военными буквами. Сколько людей погибло между двумя, такими мирными сейчас, берегами! Неужели это может повториться? Неужели возможна война?

К Дюнкерку подплыли утром и через несколько часов были в Париже. В том самом Париже, про который все знаешь с детства: названия улиц, площадей, бульваров, имена людей, которые делали его историю, рожденных им писателей, композиторов, художников, его голос, его музыку, его краски. Неужели я сейчас в этом самом Париже?!

В лифте гостиницы маленький мальчик, сидевший на руках своей кудрявой матери, неожиданно протянул мне руку и сказал: «Бонжур, месье!» Мне стало смешно и весело. Балкон нашего номера повис над бульваром. Бульвар был совсем таким, каким я знаю его по картинам Константина Коровина. Я сказал бульвару: «Бонжур, месье!»

И Эйфелева башня оказалась удивительно похожей на Эйфелеву башню, и я сказал: «Бонжур, мадам!» И Елисейские поля, и Плас де ла Конкорд, и Плас Этуаль, и Собор Парижской Богоматери, и ночная Плас Пигаль — все, все я узнавал, как будто вернулся из далекого путешествия.

Но с каждым днем все то, что я раньше знал о Париже, отодвигалось и появлялся другой Париж, не ясный мне, а только угадываемый, но зато французский, а не международно известный. Настоящий парижский Париж.

Слишком мало, слишком коротко я был в нем, чтобы если не понять, то хоть узнать и город и людей. Слишком много было у меня всяких дел, концертов, официальных встреч, чтобы найти время для встречи с городом, но все, что только можно было выкроить из плотных суток, я старался выкраивать.

За все пятнадцать дней жизни в Париже у меня было только два свободных от выступлений вечера. Я спросил моих новых французских друзей: «В какие театры надо пойти, чтобы понять, что смотрят и что любят парижане?» Мне ответили: «Только не ходите, как все приезжие, ни в Фолибержер, ни в Мулен Руж. Там парижан нет, там иностранцы. Непременно посмотрите Жерара Филиппа в мольеровском «Дон-Жуане». Это прекрасно. Пойдите в «Комеди Франсез». Это вроде вашего Малого театра. Посидите в каком-нибудь ночном кабаре и обязательно достаньте билеты на Ива Монтана. Это сейчас любимый парижский шансонье».

Даже и эту маленькую программу мне не удалось выполнить. Правда, с Жераром Филиппом я познакомился, — он пришел ко мне за кулисы в антракте концерта, — но на сцене я так его и не видел потому, что оказался занят в тот вечер, когда Жерар Филип играл. В «Комеди Франсез» я был. Смотрел «Мещанина». Но, по правде сказать, когда этот же спектакль с этими же актерами я увидел в Москве, он понравился мне гораздо больше. Вероятно, это произошло оттого, что новые обстоятельства и новые зрители открыли у актеров второе дыхание.

Программы двух ночных кабаре не были особенно интересными, но в обеих программах выступали кукольные. Они меня и пригласили туда. Выступления были интересными, но с одним из кукольников я поспорил. Он показывал номер, в котором кукол-то, собственно, и не было. Были зонтики. Настоящие зонтики. Мужской и дамский. Зонтики гуляли. Потом целовались. Потом в самый пикантный момент их застиг отец героини, то-есть второй мужской зонтик. Но было уже поздно. В конце номера появился зонтик детский.

Когда кончилась программа кабаре и в маленьком потушенном зале остались только актеры, мой коллега спросил меня:

«Ну как?» Я сказал: «Это вы ловко придумали. Очень ловко и очень талантливо. Вот жаль только, что такой острый по своей форме номер у вас бестемен». Он возразил: «Вы из Советской России и поэтому не можете понять. Нашим зрителям не нужна тема. Они хотят просто развлечения, выпить немножко винца и пойти домой». — «Неправда! Подчините форму и сюжет вашего номера какой-то определенной теме, и вы увидите, как вырастет и номер и ваш успех».

Мы расстались друзьями, но спор наш так и повис в воздухе. Каждый был уверен, что другой не понимает его потому, что не может понять. И вот на следующий день я оказался в зале театра «Этуаль» на концерте Монтана. Как жаль, что моего коллеги кукольника из ночного кабаре не было рядом! Я бы после каждой песенки Монтана оборачивался к нему и говорил: «Ну что? Кто был прав?»

Монтан замечательный певец. Но разве голос у Монтана лучше, чем у других певцов Франции? Разве только за голос или за манеру исполнения любят его парижане? Нет. Может быть, только Монтан поет эти песенки, и нигде в другом месте их нельзя услышать? Нет. Их поют многие. В чем же дело? Почему счастье, огромное счастье на лицах зрителей и почему на их глазах слезы? Почему слезы эти не похожи на слезы сентиментального умиления и почему хохот не похож на ржанье жеребцов?

Почему все это? За что влюблены французы в своего национального певца? За сердце. А сердце актера — это и есть тема.

Когда-то Соломон Михайлович Михоэлс говорил мне: «Если у актера нет его личной темы, это не актер. Если он не одержим желанием ролями своими сказать людям что-то, что он считает самым важным, — это не актер». Все то, что пел Монтан, все то, о чем он пел, было подчинено теме: его монтановскому неудержимому желанию сделать людей лучше, чище, счастливее, добрее.

Эта тема сузила его репертуар? Нет, наоборот: невероятно расширила, но в то же время отобрала.

Да, поврозь многие из песен вы можете услышать в исполнении других певцов, но Монтан нанизал свои песни на единую нить, и они стали жемчугом.

Кто же этот Ив Монтан? Откуда он взялся? Упавшая с неба звезда? Нечто исключительное и неповторимое? Нет. Не

с неба упал Монтан. Тем-то он и прекрасен, что вовсе не исключителен, а национален.

Не было бы во Франции великого народного поэта Беранже, если бы не был он песенником и если бы не было прекрасной, чисто национальной формы французской злободневной песни.

Родится эта песня чаще всего в маленьких кабаре и звездной эстафетой рассыпается по стране, если только вложенные в песню мысли и чувства оказываются нужными сегодня, именно сегодня, простым людям Франции.

Надежда Константиновна Крупская, рассказывая о жизни Ленина в Париже, пишет: «Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем, — и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п.»

Процесс рождения песен не замирает, не останавливается. Каждый год возникают новые. Их поют на углах улиц и бульваров, тут же продавая ноты. Их сочиняют поэты и композиторы, их сочиняют сами певцы, их сочиняют иногда мало кому известные люди, но песни эти рождаются и умирают, и рождаются вновь, а песенники Франции наследуют один другого. Монтан — звено в золотой цепочке народных шансонье.

Тот концерт, на который мы пришли в зал «Этуаль», не был премьерой Монтана. Он пел в этом зале и вчера, и позавчера, и неделю назад. Он пел уже несколько месяцев подряд одни и те же песни, и каждый день две тысячи человек заполняли зал и еще сотни не могли достать билетов.

Молодой, спортивный, в коричневой куртке с расстегнутым воротом, направленной в такие же коричневые штаны.

Легкий, но не развязный, ловкий, могущий сделать во время песни про акробатов «колесо», но вовсе не эксцентричный и не хвастающийся своей ловкостью.

Сзади него большой, туго натянутый занавес из тюля. За тюлем маленький оркестр. Он виден, но не мешаает, не лезет в глаза. Как только Монтан начинает петь, перед вами остается только один человек, объемный силуэт которого вырезан на белом экране тюля.

Какие же песни поет Монтан? Разные, очень разные. О чем они? О многом. И об очень значительном и о том, что на первый взгляд может показаться пустяком, но что никогда не пус-

тяк, так как та же ниточка любви к человеку и веры в него пронизывает и эту бусинку.

Девушка, красивая, молодая, качается на качелях, и ничего ей, кроме качелей, не нужно. Влюбился в нее человек. Простой человек. Стал угощать конфетами, повел смотреть балаганы. Она сказала «мерси» и побежала качаться на качелях. Он дождался ее внизу и поцеловал. Но она опять убежала качаться. Наконец он сделал ей предложение. Женился. А она все-таки бежит на качели. Смешная песня. Комичность ее Монтан сохраняет полностью и ничем не отягчает песенной легкости, но все это окрашено таким нежным, добрым и чистым отношением Монтана к героине своей песни, что сама песня становится прекрасной, как хрусталь.

А вот другая песня. Маленький негр чистит обувь белым людям. Солнце он видит только тогда, когда оно отражается в блеске начищенных им башмаков. Луч прожектора освещает Монтана. Черная тень все растет и растет сзади певца на широком экране, и песня о маленьком негритянском мальчике становится песней о судьбе большого народа. Вы видите, как не похожи эти песни — веселая и совсем не веселая. По-смешному любовная и социально заостренная, антирасистская. Со всем не похожи. Но верой в людей объединяет их Монтан.

Он поет о шофере, ведущем грузовик по бесконечной ленте дорог, и вы понимаете, как безжалостен бывает труд. Он поет про дирижера симфонического оркестра, полюбившего обыкновенную девушку, которой нравится только простая музыка танцев, и вы понимаете, что как бы прекрасно и сильно ни было искусство, все равно любовь сильнее, потому что она прекраснее.

Он поет про солдата, идущего на войну с надеждами на славу и возвращающегося никому не нужным, с узелком грязного белья за спиной.

В дни, когда я был в Париже, во Вьетнаме еще шла война. Бессмысленно, безжалостно, ненужно гибли люди. И когда Монтан пел про солдата, в зале было так тихо, будто и нет никого.

А потом Монтан рассказал, — не спел, а тихо рассказал, — про девушку, которую звали Барбарá. Он любит ее, хоть и видел всего только раз. Это было давно. Она шла по лестнице, и кто-то ее окликнул: «Барбарá!..» И девушка кинулась на этот зов, и стало ясно, что ее позвал возлюбленный. С тех

пор прошли годы. Была война. Неужели девушка несчастна? Неужели ее возлюбленный убит? Как горько, как страшно думать о том, что девушка, которую любишь, несчастна!

И опять было тихо. Очень тихо в зале. Ужас войны создали, но разве горе ее забыто?

Песню о Париже Монтан назвал балладой. Что ж! По сюжету это так и есть. Речь идет о прошлом Парижа. Но и слова, и музыка, и, главное, исполнение оказались пронизаны таким трепетным, таким личным, таким сегодняшним отношением к этому прошлому, что баллада прозвучала как чудесный любовный монолог, только адресованный не женщине, а городу.

— О тебе написаны стихи и романы. Что я могу еще сказать, чтобы описать твою красоту, мой Париж? Я купил на набережной пожелтевшую от времени книжку о радостях и горе, которые ты пережил, мой Париж! За твою долгую жизнь сколько человеческой любви рождалось и тихонько умирало на твоих улицах. Под стенами твоих домов на каждом тротуаре люди сражались за свободу. Это народ, люди сделали тебя таким красивым, мой Париж! Они построили Нотр Дам, Ла Конкорд, Тюльери. Они с песнями взяли Бастилию и шутя возвели Эйфелеву башню. Прошли года, а ты молод, как двадцатилетний. Сена покоится в своей каменной колыбели, и ей, наверно, очень уютно, но почему я так волнуюсь всегда, когда брожу по твоим улицам, мой Париж?!

Этой песней начался концерт, но когда концерт кончился, когда уже было спето все, зрители стали кричать и требовать песню о Париже: И Монтан спел. Это была другая песня. Веселая, вальсовая песня о солнечном городе, в котором флюгеры на крыше кокетничают с ветром. А весеннему ветру не до них. Ему некогда вертеть флюгеры. Взавшись за руки, солнце и ветер, как два школьника, бегают по городу, проверяют, все ли в порядке, все ли как всегда. Такси, полисмены, кафе, метро. Днем и ночью приходят к Сене гости. Влюбленные смотрят в ее глаза. Бездомные спят на ее набережных и каждое утро умываются ее водой, а те, кто ничего не ждет больше от жизни, бросаются в ее волны. Но Сена не любит этого, она любит, когда по ней плывут пароходы и журчит за их кормой. В каждом городе бывает горе, но только в Париже умеют так плясать на улицах, и во всем мире есть только один город, имя которому Париж! С тех пор как парижане взяли Бастилию, каждое

четырнадцатое июля девушки и парни танцуют на каждом перекрестке, кружатся и кружатся... Это Париж!

Звонкая, веселая, кружащаяся песня. Но почему-то на глазах у моего соседа я увидел слезы. И сидевшая впереди женщина тоже сняла слезу кончиком мизинца. Осторожно, чтобы не размазать ресницы. А через два ряда от нас мелькнул платок. Что случилось? Почему так тихо, так напряженно тихо в зале? Почему песня так распахнула сердца?

Потому, что Париж для парижан, для французов не просто город и не просто столица. Париж для них — Франция.

И совсем недавно, — этого нельзя забыть, — над Францией, над Парижем, как туча, висела смерть. Париж навсегда мог перестать быть французским, а Франция — Францией. Недаром весенний ветер и весеннее солнце проверяют, все ли в Париже осталось по-старому. Им есть что проверять! А что еще важнее: горе не только сзади, оно может оказаться и впереди. Разве опасность исчезла совсем? Разве мало об этом и говорится и пишется каждый день? Вот и наворачиваются на глазах парижан слезы, когда Монтан поет песню о Париже. Песню-танец, песню-гимн, в котором и счастье, и любовь, и боль.

Кончился концерт. Зрители шумели, кричали, аплодировали. Монтан много раз выходил и кланялся. Постепенно зал опустел. Те, кто был в нем, разошлись по улицам Парижа, мурлыкая себе под нос песенки Монтана.

Среди взволнованных, наполненных песнями людей вышел на улицу и я. И, шагая по темному бульвару Распай, я думал: «Как хорошо, как прекрасно, что искусство может делать такое большое и нужное дело! Как хорошо, когда оно наполняет людей чувствами добрыми и мечтами смелыми!» Я думал и о черной воде, в которую смотрел, переплывая Па-де-Кале, и о том, что по бульвару, по которому я иду, ходили враги Франции, и о том, что среди тех, кто спит сейчас за ставнями молчаливых домов, много вдов и сирот. И о том, что среди тех, кто борется за то, чтобы больше никогда этого не было, много прекрасных людей. И что Монтан один из них. И что каждый концерт его делает огромное дело, и что это происходит не только потому, что Монтан талантлив, и не потому, что хороши песни, а потому, что искусство свое Монтан ощущает как активное действие, как тему своей жизни, и тема эта — любовь к людям и борьба за их счастье. Этой же темой живет Монтан, создавший замечательный цикл старых народных песен для граммо-

фонных пластинок. Этой же темой живет он, играя в «Салемских колдуньях». Этой же темой наполнена его роль в кинокартине «Плата за страх». Тысячу раз прав Михоэлс, когда говорил, что большим, по-настоящему большим художником может быть только тот, кто несет сквозь все, что он делает, тему. Тему своей жизни. И тогда он пишет картину или книгу, потому что не может не писать, играет роль или поет песни, потому что не может не играть, не может не петь.

Вернувшись в Москву, я всем своим друзьям рассказывал про Монтана и заводил привезенные из Парижа две долгоиграющие пластинки, на которых был записан весь концерт.

Меня попросили рассказать об этом по радио и передать несколько песен.

И концерт Монтана, правда, немного сокращенный, состоялся в домах советских граждан и в Москве, и во Владивостоке, и в Мурманске, и в селах, и в станицах.

Так как на пластинках был записан и шум зрительного зала и даже аплодисменты, то Монтан вошел в комнаты советских людей не один, а с парижанами, с их голосами, их радостью.

И вот в адрес радио, да и ко мне домой стали приходить письма. Отовсюду. С Дальнего Востока и Крайнего Севера, с Кавказа и из Казахстана, из Литвы и Белоруссии. Их сейчас больше восьмисот, этих писем. Некоторые подписаны одним человеком, двумя, тремя, а есть письма от заводских цехов, воинских частей, факультетов, школ. Невозможно ни пересказать всех писем, ни сделать выдержки из каждого, даже перечислить города и то трудно. Но если попробовать хотя бы приблизительно подсчитать всех тех, кто фактически стоит за этими письмами, то получатся многие тысячи.

Это замечательные письма. И говорят они об очень важном. О том, как советские люди любят Францию, как верят во французский народ и как благодарны они Монтану за то, что он пришел в их дома с такими прекрасными и близкими советскому человеку мыслями и чувствами, и за то, что принес им свое сердце, сердце француза.

Сейчас песни Монтана часто передаются по радио, они изданы, их поют и профессионалы на концертах и простые люди у себя дома. Фильмы с участием Монтана — «Плата за страх» и «Идол» — шли и в кинотеатрах и по телевидению.

Советские люди горячо полюбили Монтана. Он стал их другом.

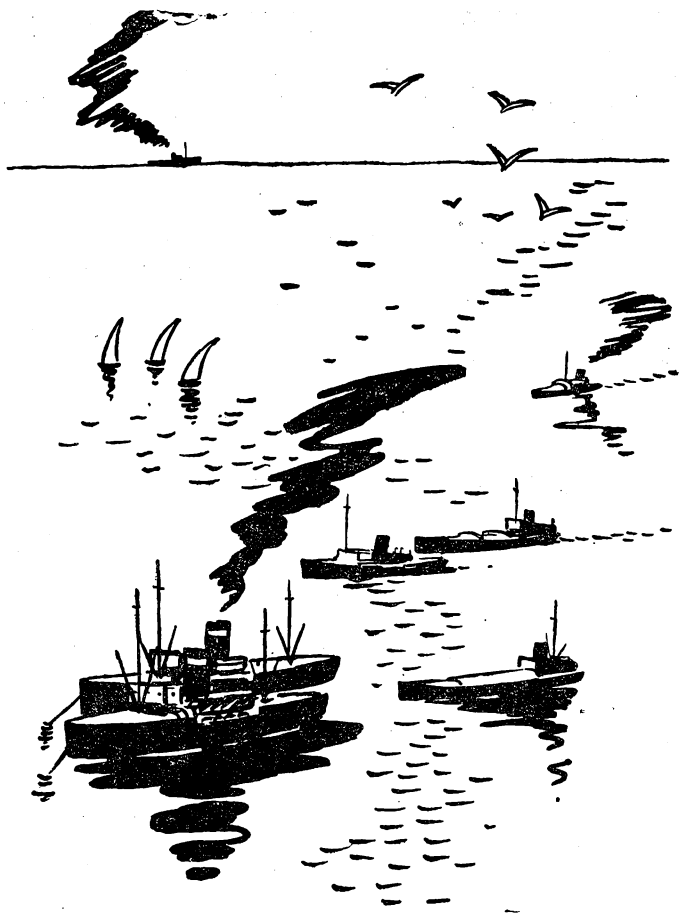
Автобиографическая книга Ива Монтана называется «Солнцем полна голова», то-есть так же, как называется одна из его любимых песен. Песня о человеке с солнцем в голове и песней в сердце. О человеке, который всем встречным на улице говорит «Здравствуйте!», потому что все ему друзья.

Как только Монтан, весело пританцовывая, начинает петь эту декларацию влюбленного в жизнь оптимиста, вы сразу же вспоминаете, что где-то слышали этот мотив. Где же? Когда? Да в самом начале концерта. Только эта мелодия счастья звучала тогда маршем, и под него-то и появился Монтан в портале сцены на белом тюле экрана.

Вот и в книжку свою он захотел войти под знаком той же песни «Солнцем полна голова».

Но появляется он перед читателем сначала не певцом и не актером, а маленьким мальчиком, которого зовут Ив, и звучит при этом не джазовый марш за белым тюлем, а плеск моря, шум порта да гудки пароходов.

Жизнь, люди, Франция сделали Монтана таким, какой он сейчас, и если не узнаешь и не поймешь мальчика и юношу Ива Ливи, разве можно понять, почему так горячи песни Ива Монтана и почему солнцем полна его голова?



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первое из моих детских воспоминаний — это море. Конечно, было и небо, и солнце, и несколько сосен, и сад, и крохотный бассейн со стоячей водой, но прежде всего — море.

Море огромно. Оно впитало в себя весь солнечный свет, все тепло, все краски, все образы.

Море молчит, но только оно здесь по-настоящему живое. Крутой берег слишком сух, и когда сбегашь по нему, земля глухо гудит под ногами: она мертва. Сосны слишком неподвижны, а дома похожи на яичную скорлупу; кажется, что она осталась здесь от какой-то гигантской яичницы.

Море бесконечно и таинственно. Оно словно чего-то ждет. Воздетые к небу гневные руки портовых кранов притягивают к себе пароходы за канаты дыма, струящиеся из их труб. Кранов такое множество, что их нельзя сосчитать, и мой брат уверяет, что они могли бы немало порассказать о волнах, о путях рыбьих стай, о приливах и отливах. Хорошо, что рука брата так крепко держит мою руку: он защитит меня от этого непостижимого моря.

Море сверкает. Кроме него, ничего нет. Оно живет своей особой жизнью, подобно старинной картине в темном зале молчаливого музея.

Повидимому, первое движение сознания оставляет в памяти глубокий след. До этого момента человека как бы не существует: нет ничего и никого, разве только какое-то растение или нечто не поддающееся определению. Лишь потом появляется ощущение своего бытия, та нить, держась за которую уже можно пробираться сквозь туман событий, сквозь толпу образов, сквозь взбудораженный людской муравейник.

По существу, я помню себя с того времени, когда я впервые увидел море. Мне было четыре года, и мы только что приехали в Марсель. Мне казалось, что море сияет, как двери рая. Оно поглощало все. Оно все растворяло. Я поистине не нахожу более ранних воспоминаний. За этим порогом памяти все сливается во что-то смутное, не имеющее названия, похожее на сон или бред, нескончаемое и непостижимое...

Затем я мысленно вижу длинные, черные ноги.

Я сижу в моей детской кроватке, напоминающей клетку. Солнце бросает лучи через окно, и они ложатся на полу золотыми снопами. Моя мать, улыбаясь, подходит ко мне. Иногда она наступает на эту золотую

солому, но шороха не слышно. Она идет, а за ней идет ее тень. Но, может быть, это крылья? Когда мама уходит, я долго смотрю ей вслед. А потом мой взгляд падает на мои ноги.

У меня толстые, уродливые, черные ноги. Другие дети, у которых ноги белые, бегают по улицам, смеются, оглушительно стучат листами железа или дерутся. А я не могу двинуться с места: мои ноги неповоротливы и черны, как у осла.

Когда-то у меня тоже были белые ноги. Но однажды моя мать почему-то обратила на них внимание. Она покопалась в стенном шкафу и, вздыхая, принесла чистые тряпочки. Потом пришли сестра, брат, соседи. Все смотрели на мои ноги, покрытые мелкими прыщиками. Мать заботливо перебинтовала мне ноги и натянула на них черные чулки.

По вечерам с меня снимали эти чулки и бинты, купали в лохани с горячей водой, а потом мазали ноги какой-то очень пахучей мазью.

Я был уверен, что в конце концов мои ноги станут такими же черными, как чулки, и со страхом ждал каждой новой перевязки. Я уже представлял себе изумленное лицо матери и безудержный хохот брата. Но, вопреки моим опасениям, ноги остались белыми.

Время бежит. Пылающее лето сменяется суровой зимой. Проходит немало дней, волнующих и пестрых. И вот в моей памяти всплывает арбуз.

Великолепный, сине-зеленый, огромный, как воздушный шар, он плавает в бассейне, и мы все на него смотрим. Сестра уверяет, что он похож на планету, брат пытается попасть в него камушками, мать говорит, что он, наверно, сладкий как сахар. Отец молчит, но он уже опустил на одно колено, чтобы схватить арбуз. Я знаю, что арбуз внутри розовый, с фиолетовыми семечками и что он тает во рту.

День праздничный, воскресенье, и мы все собрались вокруг этого крохотного водоема, в котором арбуз уже почти совсем охладился. Я забываю о другом огромном водоеме — о безбрежной пустыне моря, где за-

теряется какой угодно арбуз, и всех остальных тоже покидают мысли, которые обычно сверлят мозг. И вот, наконец, папа вылавливает его и торжественно водружает на стол. Раздаются радостные крики, и если тебе удалось сесть поближе к двери, можно плевать семечками высоко-высоко, прямо в небо!

Это настоящий пир.

И снова, как положено, проходят дни. А в каждом из них есть утро, и полдень, и пестрый вечер. Иные часы тянутся бесконечно долго, другие сгорают быстро, как спички. Послеобеденный сон и беготня, игры, камушки, которые катятся, подпрыгивая на дорогах, пение птиц на высоких соснах — все это вместе и составляет дни. Море всегда живое, и ничего не поймешь в толчее пароходов, разгружаемых подъемными кранами, потому что видишь их только издали и все сливается в невообразимый хаос. Что бы ни говорил мой брат, он разбирается в этой путанице не лучше меня. Один только папа знает, что к чему, но он это держит про себя. Он слишком занят своей работой.

Взрослые без конца говорят о работе, но я никогда не слышал, чтобы они при этом смеялись. Повидимому, работа — вещь не очень веселая.

— Я работаю. У меня пропасть работы. Я потерял работу. Я ищу работы. Это не работа. Подохнуть можно от такой работы. Все работа да работа!

Мама разрезает хлеб вдоль, кладет в него кусок рокфора, заворачивает в газету и торопится вслед за отцом. Они идут на работу. Мы остаемся одни: сестра, брат и я.

В те дни, когда отец и мать задерживались на работе и возвращались только вечером, изнемогая от усталости, нам часто приходилось делить на троих одно яйцо: одно-единственное.

Иногда нам оставляли хлеб и сыр. Их делить было легко. Но, говоря по совести, у нас частенько было только одно яйцо.

— Поосторожнее с яйцом! — говорила мама уходя.

Мы слышали, как звучали, удаляясь, ее шаги во дворе. Она нагоняла отца. Они шли в ногу, и камушки разлетались из-под четырех дружно стучащих башмаков.

На буфете лежало белое, сверкающее яйцо, притягивая наши взгляды, как алмаз.

Яйцо оставлялось на попечение сестры, так как она была самая старшая. Она должна была решать, как мы будем его есть. Важно было бережно разделить его на равные части, но самое главное — не разбить!

В ту пору мне было четыре года. Помню, как во время наших незатейливых игр я внезапно вспоминал об этом яйце. А вдруг вошла кошка и уронила его! А вдруг его стащил вор! Или оно упало от сквозняка! У меня замирало сердце, я стремглав бросался домой и приходил в себя, только убедившись, что яйцо преспокойно лежит на месте. Бессмертное яйцо!

Если варить вкрутую, его легко разделить на три части. В «мешочек» — целая канитель. Если всмятку — задача еще больше осложняется. Сделать яичницу было невозможно, потому что для этого требуется масло. Одним словом, яйцо причиняло нам много беспокойства, тем более, что мы находились в том возрасте, когда один день хочется есть желток, а другой — белок. Но в любом случае голод продолжал терзать наши желудки и после того, как мы съедали последний кусочек.

Когда мы теперь вспоминаем это чортово яйцо, которое было иной раз хитрее нас, нам становится смешно. Но тогда нам было не до смеха; случалось из-за него и всплакнуть.

Стоит ли говорить о том, что в детстве у нас не было даже игрушек? Ни плюшевых зверей, ни деревянных раскрашенных грузовиков, ни лошадей из папье-маше. Зато у нас в избытке имелась фантазия — гений, который мгновенно превращает консервную банку в трактор, старое колесо в обруч, а дощечку в корабль. Но этот воображаемый мир был не очень надежен. Проснувшись утром, мы видели, что консервная банка — это всего лишь консервная банка — жалкий, ни на что не годный кусок жести. Его отшвыривали ногой — и

все! Он с грохотом катился по земле, но никто уже не обращал на него внимания.

Кажется, это было в 1925, 26, 27 году, не знаю даже толком, когда именно. Хотя для многих других эти годы были полны событий, для меня они почти бесследно проносились один за другим. Зиму сменяла весна, весну — лето, лето — осень. Солнце попрежнему отражалось в море, и волны сверкали ослепительно, до боли в глазах. Родители мои попрежнему работали без передышки. От этих лет у меня осталось только два-три ярких воспоминания. Арбузы, которые доставляли нам столько радости, яйца, которые причиняли нам столько беспокойства, и, наконец, собака, которая заставляла мое сердце страдать.

Я вспоминаю ее хозяина, правда довольно смутно. Он среднего роста. На нем штаны, чересчур широкие для его тощего зада, и дешевая блуза, развевающаяся на ветру. Но лучше всего мне запомнилась низко надвинутая на глаза огромная фуражка, а под нею противные, грязные, растрепанные усы.

Его собака, белая с черными пятнами, ничем не отличалась от других собак, которые рыщут в пригородах вокруг домов бедняков. Не помню, как ее звали. У нее была смешная кличка. Было похоже на то, что ее придумал заика: что-то вроде Ки-ки.

Итак, Кики рыскала вокруг дома, где мы жили. Для нее не существовало ни моря, ни Марсея, ни работы. Она резвилась, играла, бегала, где хотела. И лаяла при этом.

При первом звуке лая человек распахивал дверь и останавливался на пороге. Сдвинув фуражку набок и топорща свои неопрятные усы, он принимался выкрикивать ругательства. Он истошно орал, требуя, чтобы собака немедленно умолкла. Для этого типа собачий лай был, очевидно, смертельно опасен. Во всяком случае, это можно было предположить, судя по тому, с каким остервенением он кричал на собаку.

Кики, смотря по настроению, повиновалась или, наоборот, вела себя вызывающе. В последнем случае

начинался настоящий бой быков, который длился довольно долго. Человек, вооруженный палкой, гонялся за собакой, а та увертывалась, подпрыгивая, как резиновая. Палка со свистом рассекала воздух, человек делал немислимые антраша, фуражка слетала у него с головы. Когда ему удавалось ударить Кики, слышался короткий визг, который тут же заглушали яростные ругательства:

— Дрянь! Падаль! Мразь!

Для Кики это была только игра, хотя и опасная. Но ее хозяин задыхался от безудержной злобы. Пожалуй, он не мог бы чувствовать большей ненависти даже к убийце собственной матери.

Кики до такой степени любила лаять, что лаяла даже на привязи. В таких случаях этот человек, торжествуя легкую победу, избивал ее самым ужасающим образом. Я мог отомстить за Кики только в моем воображении и от души желал, чтобы в следующей схватке негодяй потерпел неслыханное поражение, был сбит с ног, расшибся и убежал с порванными штанами.

Однажды мой отец вмешался в это дело. Собака была привязана на крыльце, и когда человек сбросил ее вниз, она повисла на поводке. Хозяин принялся избивать ее палкой. Ругательства сыпались градом. Собака визжала не умолкая.

Отец пересек весь двор и стремительно, как боевой корабль, двинулся к крыльцу. От негодования он пересыпал свою речь итальянскими словами.

Человек побледнел и прыгнул с крыльца. Он остановился перед моим отцом и преградил ему путь, ухватив его за отвороты пиджака. Похоже было, что сейчас начнется драка. Но отец высвободился и отошел. Кики тем временем ухитрилась избавиться от ошейника.

Отец вернулся домой, но негодяй, как бесноватый, продолжал изрыгать ругательства:

— Макаронщик! Вонючка! Муссолини! — ревел он.

Что только делают на свете такие типы? Кому они нужны? О чем они думают? Шевелится ли что-нибудь в их сердце?

— Грязный макаронщик! Шпион! Грязный Муссолини!

Несчастливая, глупая, старая башка, такая же ничемная, как эти жалкие, замурзанные усы!..

С каким бы прилежанием и добросовестностью человек ни писал свои воспоминания, он неизбежно рассказывает только о том, что лежит на поверхности, но никогда не проникает в глубину своей памяти. А это, в сущности, самое главное. Разве важно, что в такой-то день, в такой-то час на мне были желтые башмаки, что хмурые тучи плыли по небу и что люди на всякий случай захватывали с собой зонты? Все это только пестрая пыль. Но разве пыль вам что-нибудь говорит о самом воздухе, которым вы дышите?

Досаднее всего, что как бы ни была хороша память, она все показывает в перспективе и все смещает, так что иной раз теряешься, пытаешься разобраться в прошлом. Иногда хочется просить у кого-нибудь помощи.

Есть еще одна вещь, особенно сложная.

В один прекрасный день ты врываешься в мир, как пушечное ядро. Это записывается, регистрируется в книгах с точностью до одного часа, но ты долго еще живешь, ничего не сознавая. Так проходят тысяча дней, две тысячи дней. И вдруг ты начинаешь что-то фиксировать. Это первый проблеск памяти. Для меня таким первым впечатлением, не пропавшим бесследно, было сверкающее море. Затем следует множество других воспоминаний, — пасьянс или мозаика, из которых складывается былое. Пробелы каждый заполняет, как может. Но мысль постоянно возвращается к тем первоначальным тысяче — двум тысячам дней, от которых не осталось ничего. Силишься что-то припомнить, задаешь вопросы, доискиваешься. Все напрасно...

Я знаю людей, которые старательно изучают шрамы, полученные ими в ту «допамятную» эпоху. Они раздумывают над их происхождением. Им объясняют: вот это след от собачьих зубов, это от разбитой бутылки, это от опрокинутой кастрюли с молоком, или от

колеса пьяного велосипедиста, или от оспы. И все! И ничего тут не поделаешь! Но они продолжают копаться в прошлом, пристают с расспросами, с недоверием качают головой, как будто от них что-то скрывают. Они с остервенением набрасываются на это мертвое время, чья загадочность их так привлекает. Само собой разумеется, что они не извлекают из недр забвения ничего, кроме бесцветной собаки, бесплотного велосипедиста или какой-то сомнительной кастрюли.

Однако эти люди проявляют потрясающее упорство! Если у них есть досуг и они принадлежат к родовой семье, они как одержимые принимаются изучать свое генеалогическое древо, расспрашивают своих дедов, дядей и теток, побочных родственников. Но все, что они добывают, — пустой звук. К концу жизни, как и у прочих смертных, у них набирается лишь куча всяких неразгаданных тайн.

Мне стоило больших трудов узнать, что же происходило со мной до того времени, когда моя память начала работать более или менее прилично. Мой отец не из тех, кто любит перетряхивать прошлое. Он мало говорит, еще меньше объясняет. В прошлом он ценит только опыт, который может пригодиться в будущем. Мне удалось вытянуть из него лишь обрывки воспоминаний. Логика и воображение восполнили остальное.

Мои младенческие дни прошли в другой стране, в Италии, где я родился 13 октября 1921 года. Два года тому назад, когда я снимался в Риме в картине Блазетти, я посетил Монсумано Альто. Я увидел деревушку, прилепившуюся к склону Апеннинского хребта над Флоренцией. Я увидел охристую землю, осыпи щебня, тощие деревца. Я увидел пламенное небо и неутомимых крестьян. В волнении я мял какой-то цветок и твердил:

«Дружище, ты не турист. Дружище, ты здесь родился. Дружище, смотри: здесь происходили всевозможные события в то время, когда ты был всего-навсего маленьким комочком, способным только спать, есть и плакать...»

Я увидел глинобитный домик. Я вошел в комнату. Выступающие балки на потолке. Безукоризненно чис-

тые красные плиты каменного пола. Бесконечный простор за окном. Но никакого внутреннего толчка, никакой зацепки, ни единого образа!

«Дружище, значит ты был всего только маленьким узелком, который перетаскивали с места на место!.. Это, пожалуй, было даже неплохо для тебя. Жилось здесь в то время не так уж весело...»

Мои родители были очень бедны. Они жили в этом домике и сами обрабатывали землю. Но земля здесь упряма. Много раз приходится ее вспахивать, пока она, наконец, согласится вернуть немного ржи, картофеля или олив. Однако из века в век все Ливии занимались земледелием: зачем же было моему отцу отказываться от этого? Видно, в этом краю борьба крестьян с землею была делом чести и никто не желал отступать. Но наступит такое время, когда все изменится: и земля признаёт своих хозяев!

Если бы не Муссолини, отец мой, наверное, продолжал бы сражаться с природой. Попржнему тянулись бы дни, полные тяжелого труда, которые, однако, скрашивала гордость за то, что создано этим трудом, и твердая надежда на более светлое будущее. Мой отец вкладывал эту надежду в одно славное слово: «социализм». Для него в этом слове объединялся целый ряд важных понятий: справедливость, распределяющая все по заслугам; великодушные, раскрывающее сердца; сила, заставляющая горе отступать; мир, при котором расцветет счастье, свобода итти, куда хочешь, думать так, как тебе кажется правильным, дружить с соседями и иметь право осуждать негодяев, разоблачать их махинации. Отец не скрывал своих взглядов и часто высказывал их друзьям и соседям. Ему было радостно сознавать строгую последовательность и стройность этих идей, суливших людям облегчение их страданий и наступление нового, лучшего времени. Эти идеи светили ему, как приветливые огоньки города, к которому подходит усталый путник.

Спустя несколько лет отец открыл маленькую мастерскую для изготовления половых щеток. Он работал в риге, и мать ему помогала. Освещенная солнцем,

пробивавшимся сквозь щели навеса, эта картина мирного труда, должно быть, не могла не радовать взор.

Я представляю себе, как соседи, проходя мимо, обменивались с ними певучими фразами, в которых сквозила простодушная жизнерадостность.

Все испортил мой дядюшка.

Этот человек, брат моей матери, был, говорят, настоящим великаном. В свое время стук кованых сапог молодчиков, отправившихся в поход на Рим, опьянил его, и с той поры он почувствовал себя фашистом. Заказав себе такие же сапоги, он явился к моим родителям и, яростно топая ногами, принялся поносить социализм. Он ораторствовал точь-в-точь, как его жирный дуче. Он лопался от гордости. От него несло дешевым тщеславием.

— Убирайся-ка ты со своими сапогами куда-нибудь подальше! — сказал ему отец.

Дядюшка в самом деле ушел, но еще не раз возвращался, грозя огнем, мечом, страшной мстостью и всевозможными кровавыми ужасами.

Мой отец сохранял всю свою веру в социализм, которой этому паяцу было не понять. Моя мать, не столь уверенная, как отец, в человеческом благоразумии, уже представляла себе дым пожарищ. Она в то время была беременна в третий раз. Я был той тяжестью, которая вызывала у нее одновременно и радость и тревогу.

Пары сапог, даже самых великолепных, никоим образом не достаточно, чтобы заглушить всходы мыслей, таинственно вызревающих в сознании людей. Для этого нужны еще и факелы, и ружья, и кинжалы — целый арсенал устрашающего оружия.

Нужны отряды наемников, которые внезапно появляются в ночи. Нужны палачи и убийцы. Для подлого дела нужна такая же серьезная организация, как и для благородного начинания.

Дядя вместе со своими единомышленниками втайне обдумывал свои планы. Запершись в какой-нибудь комнатухе, они корпели над географическими карта-

ми, стучали кулаками по столу, пыжились, острословили и произносили высокопарные речи. Они готовили оружие и приходили в экстаз при одной мысли о том, что они смогут натворить, — разумеется, для славы и величия Рима. Составить список подозрительных лиц было нетрудно: ненависть подсказывала их имена. И еще легче было для дяди включить в этот список фамилию Ливи. Ведь он стал начальником сектора, — без сомнения, благодаря своим великолепным сапогам. Однако должно было пройти еще какое-то время, чтобы все было подготовлено, и солнце еще не раз поднималось и заходило над безмятежно мирными полями. А затем гнусные отродья вылезли из своих щелей, и злодеяния начались.

Моя мать была накануне родов. Она лежала возле окна, должно быть о чем-то мечтая. Октябрь отдавал свое последнее тепло. Если прислушаться, можно было уловить обрывки песенки, которую насвистывал отец за работой. Безмятежное спокойствие, царившее вокруг, казалось ненарушимым.

Кошмар, который начался потом, был так внезапен, что показался нереальным. Двор вдруг заполнился людьми; они яростно жестикулировали и жужжали, как шершни, бранясь и сквернословя. Два человека схватили моего отца, а остальные стали немилосердно избивать его плетьюми из воловьих жил. Они пытались насильно влить ему в рот касторку; это казалось им и забавным и самым подходящим для распространения их идей. Потом они вдруг исчезли. Отец с трудом дотащился до дому. Он нашел мою мать в полубморочном состоянии. Он имел право плакать и проклинать этих людей, но он этого не сделал. Он только крепко пожал руку матери.

Вскоре дядюшка опять явился похорохориться в сопровождении нескольких человек, щеголявших новенькой кожаной экипировкой.

— Ты покоришься, каналья! — ревел дядюшка в бешенстве. — Ты покоришься, или я тебя прикончу!

Отец посмотрел ему прямо в глаза: одного взгляда оказалось достаточно, чтобы смутить этого самоуверенного паяца. Преступники и тираны не выносят

человеческого взгляда. Недаром после их нашествий остается столько людей, которым выкололи глаза. Палач не может выносить огня, который сверкает в глазах жертвы. Потому людям, которых казнят, завязывают глаза: так надежнее!..

Мой отец не уступил. Он выгнал этого обвешанного значками и медалями хвастуна. Он не только не покорился, но и умножил свои усилия, чтобы воспрепятствовать действиям фашистов. В своей округе он был, можно сказать, главою социалистов и пользовался большим авторитетом среди честных людей. До него доходили рассказы о покушениях, ограблениях, насилиях и карательных экспедициях. Он видел, как из-за холмов подымались зарева пожаров, зажженных этими бесноватыми. Он все чаще задумывался над словами «социализм» и «счастье», которые, казалось, были изгнаны из страны на многие годы. Мама вздыхала: тишина ночи теперь таила угрозу.

Фашистские бандиты вернулись к нам еще раз. Они подожгли дом и маленькую ригу, которая служила отцу мастерской. Должно быть, их идиотские рожи, искаженные свирепыми гримасами, лоснились в отблесках пожара. Наверно, они походили на каких-то злых пигмеев, пляшущих, как дети, вокруг костра.

Несчастья, которые приходят в ночи, ошеломляют, хотя бы их и предвидели заранее, они всегда приводят в смятение. Люди теряют голову, кричат, бестолково мечутся из стороны в сторону.

Моей сестре было тогда шесть лет, брату четыре, а я только что родился. Родители думали лишь о том, как бы нас спасти, и забыли про все остальное. Когда нас разбудили ночью, мы были теплые, как свежеспеченные хлебцы... А наутро от нашего жилища остались только почерневшие балки, пепел, железный лом, битая посуда и дымок, прозрачный и легкий как пух. Такие дымки — серые знамена горя.

А потом дядя снова появился, сопровождаемый, как генерал, почтительной свитой. Он заявил, что такие пожары — печальная необходимость, но что они полезны. Он сбивчиво рассказал о возрождающейся из пепла птице Феникс, называя ее, однако, не Феникс,

а Феликс: ему не доставало эрудиции. Он заявил также, что его люди смогли бы за короткое время выстроить нам новый дом и мастерскую из кирпича для производства щеток — целый маленький завод. Взамен мой отец обязан был только признать, что социализм — вещь пагубная, что Бенито Муссолини — великий генерал, великий вождь и великий строитель, что дядя — его пророк в этом округе и что сейчас нужно только маршировать и ни о чем не думать без разрешения.

Дядя держал свою речь, стоя прямо, как истукан перед руинами нашего домика. Он бросал свои фразы, как торреро бросает бандерильи в быка. У него была дурацкая самоуверенность человека, который обращается с идеями, как с товаром. При этом он, должно быть, испытывал смутную радость тирана, который надеется подчинить себе и сердца и мысли.

Отец молчал. Он понимал, какую игру ведет мой дядя. Он знал, что тот хочет подкупить его заманчивыми обещаниями. Если бы такой сильный противник, как отец, отказался от своих убеждений, это было бы весьма на руку фашистам. Он знал также, что не может ждать ничего хорошего от человека, который уже показал свою жестокость. Кто, как не дядя, сказал полицейскому, который кинулся нам на помощь, когда пожар охватил наш домишко: «Пускай огонь уничтожит все их отродье!» Возможно, мой отец в это время думал о том, что при небольшой удаче и достаточном мужестве социализму можно придать свойства птицы Феникс.

— Подумай о моем предложении, Джованни, — продолжал дядя. — Ты сможешь впоследствии стать директором фабрики щеток. Через три-четыре года ты сможешь разбогатеть. У тебя будет тысяча рабочих. Ты будешь жить в городе... Подумай также о том, что наш дуче не любит упрямцев. И я тоже!

Закончив речь, дядя в сопровождении своей свиты спустился вниз по дорожке, небрежно отбрасывая камни ногой, но стараясь при этом не поцарапать свои великолепные сапоги.

Он не знал, что нельзя заставить человека отказаться от своих убеждений так просто, будто дело идет

о шляпе, которую надо снять с головы, или о легком влечении, которое надо преодолеть. Он не подозревал, что огонь, который горит в каждом человеке, — это священный огонь. Он думал, что это всего лишь слабый огонек, который нетрудно задуть.

Мой отец понял, что ему надо принять серьезное решение. Жизнь становилась невыносимой. Было ясно, что в конце концов дядя посадит его в тюрьму и рано или поздно убьет. Ему оставалось одно — бежать. По всей Италии устанавливался режим, укрепленный террором и запятанный кровью.

Ему показалась единственным выходом эмиграция в Соединенные Штаты. Америка была далекой страной, окутанной дымкой рассказов о счастливых открытиях и легендарных удачах. Отец побежал в консульство, но его ждало жестокое разочарование: двадцать четыре часа тому назад визы на въезд в США были отменены.

Мучительная тревога воцарилась в убогой лачуге, где мы с наступлением вечера жались друг к другу, как затравленные звери. Неистовые удары кулаков сотрясали дверь, как в жестоких мелодрамах, и к нам врывались люди с вытаращенными глазами. Они рылись всюду якобы в поисках уличающих нас документов и при этом тащили все, что им попадалось под руку. Они кричали, что эти мнимые документы могут служить достаточным основанием, чтобы нас всех расстрелять. Они делали вид, будто верят в этот страшный фарс, хотя сами прекрасно знали, что все это ложь.

Дядя, изощренный в жестокостях, приказывал своим людям совершать налеты через неопределенные промежутки времени — то ночью, то днем. Он великолепно знал, что в ожидании их мы трепещем не меньше, чем во время самих налетов. Внезапность он делал орудием садизма.

Если бы мой отец был один, он, без сомнения, встретил бы фашистов с ружьем в руках. Но ему прежде всего приходилось думать о спасении своей семьи. Он купил географическую карту, изучил маршрут, собрал немного провизии и, поцеловав нас, отправился к французской границе.

Наверно, этот уход был одновременно и горестным и прекрасным, как те медали, на которых выбито два разных изображения: одно символизирует печаль, другое — надежду. Но решительного путешественника, который отправился пешком по дорогам с палкой в руке и мешком за плечами в поисках убежища и лучшего будущего, видно, хранила счастливая звезда.

Я уже упоминал, что мой отец не любит много говорить, в особенности о себе. Он может спорить, уточнять мысли, обдумывать слова, но ничто его так не смущает, как необходимость рассказывать о своих перипетиях. Мы почти ничего не услышали об этом путешествии. Он рассказал нам один только забавный случай.

Он должен был перейти границу вместе с контрабандистами, продувными мошенниками, которые пообещали столкнуть его в овраг, если он не перестанет кашлять. Потом они его все же бросили одного, еще не миновав опасной зоны. Они не желали обременять себя человеком, который ни разу до этого не участвовал в воровских вылазках, не имел никакого опыта в бесшумных походах и к тому же был недостаточно осторожен.

Отец блуждал по тропинкам, пытаясь выбраться на дорогу, как вдруг столкнулся нос к носу с итальянским таможенником. Это было на рассвете, и чиновник почуял в нем контрабандиста.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Ничего, — ответил отец. — Ничего особенного. Я смотрю. Любуюсь пейзажем. Я художник.

Он сказал первое, что пришло ему в голову, как человек, который бросается в воду, без всякой подготовки, и сам удивился своему ответу.

— Художник? — изумился таможенник. — Художник!.. Это поразительно!.. Я ведь тоже художник! Вот так история! Если бы вы знали, как редко встречаешься с братьями по искусству! Попадаются одни только мошенники и каналы либо чиновники и туристы, которые ни черта не понимают ни в рисунке, ни в красках!

Они разговаривали довольно долго. Это было настоящей пыткой, потому что отец ничего не понимал

в живописи. К счастью, таможенник был болтлив и говорил за двоих. Он повел моего отца козьими тропками, чтобы показать ему редкостные виды. Они любовались редкими растениями странной формы и окраски. Поднявшись на крутые скалы, они восхищались солнечным восходом, особенно великолепным в это утро. Потом они расстались, обменявшись рукопожатиями и называя друг друга «синьор», как и полагается просвещенным горожанам.

Это оказалось единственным приятным эпизодом, а в остальном путешествие моего отца было тяжелым, бесконечно долгим и полным лишений. Наверно, так же перебираются муравьи через лес, полный препятствий. Я представляю себе, как мой отец упрямо карабкался через горы, обходил города, жевал кусок хлеба где-нибудь под скалой и брел дальше, сжимая свою палку, как руку единственного друга.

Он обосновался в Марселе, где ему удалось найти работу. Отказывая себе буквально во всем, он собрал немного денег, которые переслал моей матери. Она приготовилась к отъезду так спокойно, как будто дело шло об обыкновенном переселении на другую квартиру. Дети и весь домашний скраб уместились на одной повозке... Это произошло в 1923 году.

Мы приехали в Марсель, где нас ждал маленький домик на окраине города, в Вердюрон — О. И вот здесь-то, в самый первый момент пробуждения моего сознания, я увидел сверкающее море.

В четыре года трудно судить о том, что такое счастье и что такое несчастье. Я знаю только, что лучшими часами в моей жизни были те, когда мы все собирались вместе: отец, мать, сестра Лидия, брат Жюльен и я, Ив.

Мой отец решил мне дать это имя, потому что святой Ив — покровитель адвокатов. Он полагал, что слово может сослужить хорошую службу тому, кто умеет им пользоваться.

Но он никогда не представлял себе, что слово станет для меня жизнью. Правда, слово, положенное на музыку...



ГЛАВА ВТОРАЯ

Жизнь героев целеустремленна и последовательна. Ее легко разложить на строго определенные периоды, как раскладывают карты на столе, когда играют в пасьянс. Валет. Дама. Король. Туз... Даже дни героев можно построить в ряды, в том самом порядке, в каком они были прожиты, и они продефилируют сквозь

века, как солдаты победоносной армии, ведомые просвещенными биографами.

Когда перед вами возникают такие примеры, вам невольно делается стыдно, потому что ваше собственное прошлое, а особенно ваше детство — сплошная путаница, непослушное стадо дней, в котором невозможно навести порядок.

Для того чтобы разыскать вас, дни моего прошлого, разбредшиеся, как козы и бараны, которых плохо стерегли, нужно ангельское терпение и профессиональная добросовестность хорошего пастуха. Но стоите ли вы таких мучительных поисков? Быть может, теперь, когда вас больше не скрашивает детская беспечность, вас надо просто забыть? Разве в своей повседневной текучести вы не подобны зыбучим пескам, на которых путник, вернувшись назад, уже не находит своих собственных следов? Дни удач, дни неудач, и дома, из которых мы уходим по утрам и возвращаемся вечером, в воспоминаниях вдруг становятся пустыми, как покинутые помещения. Но этими днями, как вехами, обозначены все наши пути — и на суше и на море. Это точные ориентиры для людей с короткой памятью.

Домик в Вердюрон — О был совсем маленьким. Его обжигало солнце, и по его крыше разгуливали то сухие, то соленые морские ветры. Он был создан для простых человеческих радостей. Нельзя сказать, чтобы он был очень красив, но вид у него был приветливый. Я не помню точно, по каким причинам мы его оставили. Людям кажется, что они переезжают для того, чтобы жить поближе к месту работы, чтобы иметь жилье попросторнее или не так дорого платить за квартиру. Но в действительности, быть может, они лишь повинуются тайным велениям воображения, побуждающего их гнаться за призраком идеального жилища. Оно рисуется им прекрасным, как дворец, к которому ведет нескончаемая аллея. Они рыщут по предместьям города в поисках этого замка, и переезды приобретают для них характер увлекательных приключений. Квартиры, которые они меняют, становятся как бы этапами смелого странствия под знаком пленительной надежды. Если они неожиданно богатеют, то это богатство лишь

питает их страсть к непрерывным переселениям: они не находят себе покоя, пока не воздвигнут то здание, о котором мечтали. И одно из множества зол нашего времени состоит как раз в том, что люди в своем большинстве не вольны переселяться из дома в дом. Обычно они привязаны к двум-трем комнатам. Они чувствуют себя как бы закупоренными в них и теряют веру в самую возможность когда-либо найти жилище, которое удовлетворяло бы их во всех отношениях.

Что касается нас, то в 1927 году мы еще могли отдаться этой страсти. Мы перебрались из домика на холме в доходный дом, расположенный в районе, носящем не особенно благозвучное название — Кротт*. Но этот переезд был разумен, так как новое наше жилище находилось сравнительно близко от места работы отца.

Я не помню всех обстоятельств переезда. Я вспоминаю себя уже на маленьком каменистом дворе, в тени шумящих сосен. Я вижу угрюмую, узкую улицу с рядами больших серых неприветливых домов, с грязными канавками вдоль тротуаров. Спотыкаясь и падая, я бегаю по ней с мальчишками, чьи имена уже стерлись в моей памяти.

Наша квартира на третьем этаже состояла из трех комнат. Чтобы попасть в нее, нужно было пройти темными коридорами, подняться по скрипучей лестнице. Если наши игры во дворе затягивались допоздна, то, возвращаясь домой, мы чувствовали себя участниками опасной экспедиции: ведь всегда можно было предположить, что какой-нибудь страшный незнакомец прячется в темноте! Сердца наши бились от радости, когда, наконец, мы поворачивали ручку двери и оказывались в освещенной комнате.

Сначала наша квартира показалась нам неприглядной. Она кишела клопами. Всей семье пришлось взяться за работу: нужно было сорвать выцветшие обои и выгнать из щелей красноватых насекомых. Когда их давили, они воняли самым отвратительным образом. Ползучие полчища были методически истреблены,

* Кротт — грязь, помет.

а затем щели замазаны известью. Несмотря на нашу конечную победу, мать еще долго вспоминала это сражение. Клопы являлись как бы символом грязи и нечистоплотности, невыносимых для порядочной хозяйки. Она боялась, чтобы они не вернулись, так как знала, что справиться с ними очень трудно. Как только мать находила в уголке под обоями подозрительное насекомое, мы все тотчас собирались, чтобы его определить. Не одна божья коровка поплатилась жизнью из-за нашего невежества по части энтомологии, если только не успевала улететь, чему мы всегда радовались: во-первых, потому, что это был не клоп, — у клопов нет крыльев, — а во-вторых, потому, что божьи коровки, летающие в воздухе, предвещают хорошую погоду.

В одной из комнат была столовая, священное место, центр нашей квартиры. Расписной фаянсовый сервиз, рюмки и вышитые салфеточки были нашими сокровищами. Ими пользовались только в торжественных случаях. Об этих случаях мать говорила с уважением и доверием, как о чудесах, которые могут произойти в любую минуту, так что надо быть всегда наготове. Мы все твердо верили, что жизнь у нас может внезапно измениться. Эта надежда воплощалась в некоем важном лице, которое могло вдруг постучать в дверь и без всяких церемоний войти к нам с подарками. К его приходу надо было приберечь хотя бы фаянсовую посуду и рюмки. Само собой разумеется, что этот волшебник так и не появился. Тем не менее мне иногда казалось, что я слышу его уверенные шаги и стук его перстней по перилам лестницы.

Вторая комната служила спальней моим родителям. Жизнь начиналась в ней рано утром, так как мой отец чуть свет уходил на работу. Наконец третья комната предназначалась для нас. Она была разделена надвое самодельной перегородкой. Одна половина принадлежала сестре, другая — мне и брату. На нашей половине стояла узкая кровать, одна на двоих, и мы с братом без конца выясняли, как ее поделить. Наши дискуссии по поводу жизненного пространства перемежались пинками. Мама вмешивалась в эти споры, ко-

гда они становились чересчур шумными. Она была беспристрастным арбитром: уж она-то умела находить невидимую для наших глаз границу! Военные действия прекращались, а подписание перемирия заменял поцелуй в лоб, которым мать награждала нас обоих.

У квартала Кротт были свои загадки. Первой загадкой был канал. Каким образом эта, казалось, тяжелая и вязкая вода преображалась до такой степени, что издали блестела, словно живое серебро? Это было невозможно понять. А как проследить судьбу разных отбросов, которые неслись в этой воде по направлению к порту, к кораблям и пляжу? Куда деваются все эти дохлые собаки и куры, доски, пробки, бутылки, разные вещи, которым не сразу даже подберешь название, бумаги, обрывки писем, с которых вода смыла чернила?.. Похоже, что все города мира прорезаны такими каналами, назначение которых трудно постичь. По ним даже не плавают лодки. Только мальчишки, этот отчаянный народ, орут во все горло на их берегах, дерутся и выкидывают разные штуки, несмотря на предупреждения взрослых, которые никогда не забывают напомнить о том, как кто-то утонул или таинственно исчез.

Не менее интересным местом был пустырь, который назывался Баша́.

Теперь он больше не существует. Предприимчивые люди построили на нем сортировочную станцию. Там, в путанице путей, стрелок, семафоров, скопляются и с грохотом сталкиваются вагоны и душераздирающе кричат паровозы.

Раньше пустырь был куда более зловещим местом. Это был пустырь, и вместе с тем на нем кипела жизнь.

Днем шумные ватаги мальчишек носились по сухой траве, чертополоху и всякому мусору, разбросанному ветром. Одни втыкали в землю лоскутные знамена, другие строили шалаши, рыли берлоги, бросали в воздух крышки от коробок, которые взлетали, кружась, и падали на далеком расстоянии. Старые женщины бродили здесь в поисках еды для кроликов.

Но по ночам самый отважный мальчишка квартала, и тот не осмелился бы пройти мимо пустыря даже

в сопровождении своего отца. Там преступники и бандиты заключали подозрительные сделки, и зачастую по утрам на траве виднелись следы крови. Там совершались насилия, и не один прохожий, случайно оказавшийся близ пустыря, бывал избит и ограблен. Самых предприимчивых из нас не покидала надежда найти на пустыре какой-нибудь предмет, затерявшийся во время этих ночных происшествий: нож, деньги, золотые часы или револьвер. Но ни за что на свете они не отправились бы туда рано утром: очутиться вдруг перед мертвецом с остекленевшими глазами было слишком большим риском по сравнению с возможностью приобрести сомнительное сокровище.

Как бы там ни было, пустырь с его преступлениями и темными делами распространял на нас всех свое бесконтрольное влияние. Он давал пищу нашим беседам и ночным кошмарам.

Кварталу Кротт, находившемуся между каналом, пустырем и улицей, по которой проезжали тяжело груженные машины, удалось сохранить некоторую обособленность. Этот район считал себя городом или, вернее, чем-то вроде старой крепости, в свое время знавшей славу и величие. Обитатели этого квартала, у которых хватало хлопот, тем не менее старались по мере сил сохранить в своих привычках, поведении и осанке отблеск великого прошлого. Что касается сорванцов, то они считали наш квартал Техасом в миниатюре, чем и гордились, отстаивая его престиж в непрерывных драках с представителями других кварталов, претендовавших на такую же честь.

Днем его улицы всецело принадлежали детям, которые в силу разных причин не посещали школы. Собаки стаями гонялись за кошками, кошки подкарауливали воробьев, а те, не обращая на них внимания, безустали летали взад и вперед между крышами и телеграфными проводами. Эти улицы, которые мы знали как свои пять пальцев, где нам знаком был каждый закоулок, тем не менее сохраняли для нас жгучий интерес.

Дети района Кротт предпочитали улицы своим домам и находили тысячу предлогов, чтобы бегать по ним целый день.

С наступлением вечера в хорошую погоду взрослые, в свою очередь, выходили на улицу. Они брали с собой стулья и рассаживались у дверей домов. И хотя на улице невозможно было уловить ни малейшего ветерка, они называли это «подышать свежим воздухом». Маленькие дети не принимали участия в этой церемонии. Их укладывали спать сразу после ужина.

Я вспоминаю эти традиционные сборища, когда меня тоже укладывали спать и я оставался один в постели: мой брат уже достаточно подросток и мог на них присутствовать.

Слышны грубые мужские голоса, пронзительный женский смех. Иногда голоса стихают и доносится лишь неясный шопот. Иногда, как звук трубы, врывается чей-то бас, а потом снова тишина. И над всем этим, как бы сквозь тонкую паутинку сна, я слышу демонические крики ласточек.

Впоследствии мне тоже было разрешено по вечерам «дышать свежим воздухом». Мне вспоминается эта улица, погруженная в глубокое оцепенение. Она осталась в моей памяти как картина, нарисованная художником, влюбленным в перспективу. Линии крыш, канав, тротуаров и электрических проводов — все сходится в одной точке: оттуда, наверное, можно шагнуть прямо в небо. Но небо это закрыто и нависает над городом, как крышка кастрюли; нависает так низко, что голоса звучат глухо, а птицы проносятся над самой землей. И вот, то вспыхивая, то угасая, как бы нехотя, рождается первая звезда.

Но еще до этого обычно приходила торговка улитками, нарушая унылый отдых прохлаждающихся людей. Ее голос, издавлекa возвещавший об ее приближении, походил на крик жаворонка и звучал жалобно. Со своим котелком, из которого поднимались ароматные пары, она появлялась неизвестно откуда, быть может из того неведомого края, где сходятся все линии перспективы. Она останавливалась возле сидящих на пороге людей и за несколько су раздавала им скудную пищу: крохотных улиток, сваренных с пахучими травами. Шумовкой, которая служила ей меркой, она зачерпывала из котелка улиток, наполняла ими фунтики

из толстой бумаги и тщательно отсчитывала сдачу. Звон монет как бы аккомпанировал причмокиванию покупателей, поглощавших улиток: оно свидетельствовало о том, что это лакомство им по душе. Наконец торговка исчезала за ближайшим поворотом, но ее крик долго еще доносился издали, вызывая насмешливые замечания и более или менее удачные подражания.

Цыгане появлялись не так регулярно, как торговка улитками, но зато их приход был гораздо более эффектным.

Они появлялись внезапно.

Принадлежа к расе, понимающей всю прелесть тайн и волшебства, они предпочитали передвигаться незаметно, не вызывая к себе излишнего внимания. Они внезапно возникали перед глазами людей, сидевших возле своих домов в сумерках, в тот таинственный час, который так благоприятствует миражам и галлюцинациям.

Их было пятеро: две женщины и трое мужчин. Двое мужчин, играя на гитарах, шли впереди, остальные шествовали на ходулях.

Гитаристы играли какую-то быструю мелодию. Они пощипывали струны и низко склоняли голову к колкам, прислушиваясь к звукам. Те, что были на ходулях, в продолжение нескольких секунд со страдальческим выражением лица впитывали в себя эти звуки, а потом принимались плясать, умело аккомпанируя себе кастаньетами.

За плясками следовали песни, в которых звучала и гордость и тоска по далекому краю. В них говорилось о тишине *sierras**, о прохладе тенистых *patio***, о беспощадном, как *muerte****, солнце. Слово «*coqazon*» **** повторялось в припеве часто и с невыразимой страстью. Произнося его, танцор прижимал руку к груди и всем своим видом старался показать, что он очень настрадался из-за этого *coqazon*.

Представление обычно длилось недолго. Цыгане по натуре своей странники и всегда куда-то торопятся.

* — скалистые горы (исп.).

** — внутренние дворики (исп.).

*** — смерть (исп.).

**** — сердце (исп.).

Они, как маленькие степные смерчи, кружились перед глазами зрителей, заставляя их вытягивать шеи. Под раздирающий душу финальный аккорд танцоры на своих ходулях разбегались, как пауки. Гитаристы собирали деньги в шапки и исчезали вслед за ними. Четверть часа спустя, если вечер был особенно тихим, те, у кого был острый слух, могли уловить отголоски концерта, который те же цыгане давали дальше, в другом квартале. Но обычно не долетало ни звука.

Цыгане оставляли после себя ощущение некоей загадки. Начинались толки о разных тайнах, которыми они так любят себя окружать. Обсуждались легендарные происшествия, героями которых они были. Сообщались приукрашенные фантазией сведения об их необычайном и удивительном характере. Цыгане казались овеванными славой таинственными посланцами, которые бродят по миру с неведомыми целями, не прикованные к месту беспросветной работой, жалким жильем, тягостными обязанностями — словом, какими бы то ни было цепями. В глазах обитателей квартала Кротт на цыган явно падал отблеск той ослепительной красоты, которую средневековые пастухи приписывали ангелам. Цыгане у всех возбуждали любопытство и смутное беспокойство. И во всяком случае в них было какое-то обаяние.

Если жизнь ведет себя с вами, как некое животное, от которого все время приходится ожидать ударов и подвохов, некогда задумываться над вопросами, сколько-нибудь выходящими за пределы повседневных забот. Утром впрягаешься в лямку, в полдень переводишь дыхание, вечером ложишься спать, а назавтра все повторяется сначала. Монотонность жизни становится пыткой, выносить которую помогает лишь мысль, что это неизбежно.

Квартал Кротт был населен одними лишь бедняками, и будь у этих людей фамильные гербы, на них была бы изображена кривая гримаса нужды. Каждый из них был похож на потерпевшего кораблекрушение, который изо всех сил старается выкачать воду из раз-

битой лодки и кое-как законопатить ее, чтобы продержаться на поверхности хотя бы еще немного. Они жили, как в осажденной крепости, и, быстро старея, теряли всякую надежду. Они чувствовали себя во власти коварного, грубого, непонятного механизма. Они были словно заживо замурованы. И эти вечера, когда они собирались на улице «подышать свежим воздухом», походили на отдушины в окружавших их стенах. Соседи и друзья толковали и спорили, стараясь уяснить свое положение. Пытались найти какой-то выход. Прислушивались к голосам наиболее опытных и знающих, которые объясняли, как нужно смотреть на жизнь, как разбираться в ее течениях и водоворотах. Они рисовали картины нового мира, в котором каждый мог бы выбраться из этого серого прозябания, более цепкого и более коварного, чем самая черная нищета. Они мечтали о родине, где работа была бы не жестокой необходимостью, а радостью и служила бы светлым целям. Все это отождествлялось у них со словом «коммунизм», в котором мой отец находил все очарование знакомого ему раньше слова «социализм».

И если цыгане появлялись как раз тогда, когда речь заходила о подобных вещах и люди делились своими надеждами и мечтами, это можно было принять за доброе предзнаменование, и на сердце у всех становилось теплее. Расставаясь, люди обменивались крепкими рукопожатиями, с новой силой чувствуя веру в великие свершения, словно могучее течение полноводной реки увлекало их навстречу прекрасному будущему.

В такие вечера все казалось прекраснее и доступнее. Женщины приходили в восторг от глаз гитаристов, — от этих бархатных очей, — а мужчины рассыпались в восторженных замечаниях по поводу гибкости стана цыганок. Но бархатные глаза и гибкость цыганок были только поводом для выражения энтузиазма зрителей.

По правде сказать, эти вечерние беседы лишь изредка рождали такое праздничное настроение. Обычно они касались мелких повседневных неприятностей, квартирных склок и нищеты во всех ее бесчисленных

проявлениях. Люди говорили о своих заработках, сопоставляли с ними все возрастающие долги бакалейщику, булочнику, аптекарю, врачу, сапожнику. Передавали тревожные слухи об увольнениях, об эпидемиях ветряной оспы и плохих прогнозах погоды, об увеличении цен на хлеб, о воинственных речах государственных деятелей, о произволе и самодурстве хозяев. Наконец распространяли сплетни, обменивались колкостями и повторяли избитые истины, облеченные в форму высокопарных изречений, позволяющие придать разговору слегка философический характер и кажущуюся глубину. Старики в особенности были мастера на такие витиеватые фразы. Все это, вместе взятое, погружало каждого в убийственное уныние, и жалобные выкрики торговли улитками не способны были его рассеять. В такие вечера шаги взрослых звучали глухо на деревянных лестницах, а затрешины так и сыпались на ребяташек.

Мы, мальчишки, плохо разбирались во всех этих оттенках настроений. Для нас все сводилось к практическим выводам: «К моему старику сегодня не подступишься!» «Моя старуха не купила мне улиток!» Мы попрежнему сломя голову носились по улицам, орали во все горло, визжали и хохотали.

Однако нищета иной раз брала верх над нашей беспечностью. Прежде всего нужно было что-то есть.

— Опять эта картошка!

— Не хочешь, не ешь! Но ничего другого ты не получишь!

Нужно было выбирать между отвращением к картошке и болью под ложечкой от голода, который будет мучить вас до самого вечера. В конце концов мы преодолевали отвращение: голод страшил нас больше всего, с ним не свыкнешься.

Затем нужно было во что-то одеваться.

Я имел несчастье быть младшим в семье: таким образом мне неизменно доставались обноски брата. Новой одеждой пользовался он один. Но и его положение, впрочем, было немногим лучше, так как вещи покупались с большой осторожностью, лишь самые необходимые, самые прочные, недорогие и всегда на

вырост. Без сомнения, внешний вид при этом терпел ущерб. Изобретательность мамы, старавшейся нас приодеть, лишь немного смягчала зло.

Но бедность напоминала о себе и другими способами. У нас совсем не было карманных денег, чтобы купить конфеты или петарды. Нам не на что было повеселиться в воскресные дни. И, наконец, мы ясно сознавали, что принадлежим к особому классу, по отношению к которому продавцы хороших и красивых вещей испытывают лишь недоверие и презрение.

Как бы мы ни ссорились по тем или иным причинам, играя с мальчишками с другой улицы или из другой компании (обычно мы держались ватагами, стайками, как наемники или бродячие животные), мы все же ощущали себя связанными с ними неписанным договором. Например, мы знали, что драка с каким-нибудь парнишкой из нашего квартала не помешает нам потом крепко дружить с ним, гораздо крепче, чем с пай-мальчиком из богатого района, который заискивал перед нами. Во всяком случае, мы были твердо убеждены, что у нас нет ничего общего с этими принцами, с которых не спускали глаз чопорные гувернантки и наставники.

Теперь, когда с тех пор прошло двадцать пять лет, когда я мыслю, как взрослый, — с точностью, определенностью, строгостью, не свойственной детям, — подобное положение вещей мне кажется почти непостижимым. У меня такое ощущение, будто то, о чем я вспоминаю, происходило в каком-то адском городе.

Мне трудно поверить, что люди могли расти в таких условиях и особенно что они могли преуспевать и избегнуть пути, который привел бы их к падению, и, наконец, не утратить, вопреки всему, надежды... Но, быть может, детство обладает своим собственным иммунитетом и чудесно преображает то, чем страшна нищета, подстерегающая нас повсюду, как западня, и смертоносная, как яд?

Пример рабочего Анри мог бы свидетельствовать, как могущественно это волшебство детского зрения.

Анри жил в том же доме, что и мы. Он был металлистом, и если смотреть на вещи трезво, его положение

было далеко не блестящим: несколько лет спустя он умер от туберкулеза. Тем не менее воспоминание о нем всегда будит у меня представление о великом и благотворном единении между тружеником и питающими его плодами труда, между человеком и хлебом.

Анри любил хлеб. Он покупал себе тонкий, длинный, как флейта, хрустящий хлебец и разрезал его пополам. Потом клал половинки одна на другую и принимался жевать этот толстый «сэндвич». Его лицо выражало тогда такое удовольствие, что любо было смотреть на него. Просто слюнки текли. А между тем это был только хлеб. Еще и теперь — и, наверно, так будет до конца моей жизни — хруст разламываемого хлеба вызывает у меня в памяти лицо доброго и честного рабочего Анри.

Семья также имела свое значение. Не вдаваясь в рассуждения о причинах детской преступности, я хочу сказать, что, на мой взгляд, дружная семья является лучшим противоядием против опасного влияния нездоровой среды. Во всяком случае, для меня семья представляла собой нечто вроде маленькой крепости, где я всегда находил защиту и любовь. Я знаю также, что люди, которые совершали самые ужасные злодеяния, рассказывали о своих семьях вещи, которые трудно себе представить: это были настоящие осиные гнезда.

С особой силой и полнотой мы ощущали семейные узы по вечерам, за ужином, когда все были в сборе. Мы сознавали, что нас пятеро и что одновременно мы представляем собой единое целое: семью Ливи. Мы были неразделимы и понимали это не хуже, чем рыцари короля Артура, сидевшие вокруг своего круглого стола, или вельможи, собравшиеся вокруг столика для спиритического сеанса. Мы чувствовали абсолютное спокойствие, и, казалось, крылья счастья ласково касались наших голов.

У этого счастливого домашнего круга было два полюса: отец и мать.

Отец олицетворял собой положительность, твердость, честность и прямоту. Но все эти качества, от которых веет некоторым холодком, когда они находят свое выражение в официальных учреждениях, облака-

лись у него в большую человеческую теплоту, потому что мой отец был человеком добрым, и эта доброта руководила всеми его поступками. Он обладал также исключительным спокойствием. А нет ничего более ободряющего, чем спокойствие, когда горе или неприятности довели вас до крайности и вконец истрепали нервы.

Моя мать воплощала в себе радость, любовь, нежность и хорошее расположение духа. Она вся словно светилась каким-то добрым светом, от которого становилось веселей на душе, когда он падал на вас. Кроме того, она обладала еще одним замечательным свойством, присущим лишь настоящим хозяйкам: она умела создавать в доме атмосферу удивительной теплоты и уюта, и этим тоже мы все обязаны ее золотому сердцу.

Моя сестра Лидия, мой брат и я горячо любили родителей и друг друга, и всех нас объединяло, как звенья неразрывной цепи, это благословенное чувство.

Мысленно переделывать свое прошлое при помощи словечка «если бы» — пустое занятие. Тем не менее я уверен, что судьба моя была бы совершенно иной, если бы в нашей семье не царил столь полное, ничем не омраченное согласие. Я знаю, что бедность могла бы испортить мою жизнь, потому что клыки у нее острые и она умеет находить слабые места. К счастью, она смогла одержать над нами лишь весьма незначительные победы и на этом в конце концов обломала зубы.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Подобно деревцу, посаженному на девственной почве, школа пускает глубокие корни в сердце ребенка и всегда оставляет свой след. Для одних воспоминание о школе — это яркий солнечный блик или мерцающие далекой звезды. Для других это черное пятно, мрачное и безотрадное, как огромная клякса. Для

третьих — это просто неясная тень, для четвертых — сложный комплекс переживаний, связанных с чудесными приключениями или непереносимыми горестями.

Школа квартала Кротт была не очень-то привлекательна. Она скорее походила на исправительный дом, — по крайней мере, мне так казалось. Наружность обманчива, и это еще более справедливо применительно к фасадам зданий, чем к лицам людей. Тем не менее, когда у нас создается какое-то представление, его нелегко изменить. Есть вещи, которые нам не нравятся. А школьные здания мне не нравились.

На школьном дворе росло пять-шесть хилых деревьев, которые производили такое впечатление, будто они выбиваются из сил, отчаянно цепляясь за жизнь, тогда как величавость настоящих деревьев, напротив, в том и состоит, что они кажутся бездельниками, которые наслаждаются полным изобилием. Тем не менее эти шесть заморышей давали что-то вроде тени, а также приют неприятельным птичкам, на чьи гнезда покусались иные сорванцы, рискуя навлечь на себя гнев учителей.

На этом дворе мы проводили перемены, слишком короткие, чтобы мы могли придумать какую-нибудь толковую игру. Мы успевали только немного поиграть в пятнашки и подурачиться.

Кроме того, нам приходилось терять много времени, терпеливо ожидая своей очереди в длинном хвосте, который извивался перед уборной.

Школьное начальство позаботилось разъяснить, что данный двор не может служить местом непредусмотренных забав. В глубине двора на стене большими буквами было написано:

«Бегать воспрещается!»

Конечно, этому приказу никто полностью не подчинялся. Но все же он нас стеснял. Достаточно было взглянуть на эту надпись, чтобы вспомнить, что мы рабы всяческих школьных правил и расписаний. Эта надпись указывала нам также, что некий невидимый представитель высшей школьной власти наблюдает за нами с холодным вниманием.

Как это ни странно, я совершенно не помню лиц моих учителей. В моей памяти сохранились только серые, безыменные тени. Они двигаются, разговаривают, угрожают, рассуждают, секут, пишут, ставят отметки, задают вопросы, награждают, осуждают, хвалят, но совершают все это, как фантомы. Вместо голов у них туманные пятна.

Поскольку память — это орудие, с которым не стоит церемониться, я порой пускаю ее в ход, чтобы облечь в плоть и кровь эти призраки учителей. Я трясусь и перетряхиваю ее, выжимаю, как губку, фильтрую, но все напрасно. Мои преподаватели — метры, как их называли, — категорически отказываются принимать человеческий облик. Вызвать в памяти их лица не удается ни терпением, ни хитростью. Я тщетно стараюсь представить себе их на кафедре или во время перемен, когда они беседуют между собой или торопливо затягиваются дешевыми крепкими сигаретами. И эта неразгаданная тайна придает моим школьным годам несколько странный оттенок: в моей памяти они похожи на неясный сон.

Сны наяву или, по крайней мере, мечты были областью, в которой я много блуждал, повидимому, без особой пользы. Я мог сидеть за партой в позе внимательного ученика, не слушая того, что говорилось в классе. До меня доходило только монотонное гуденье, и я мысленно уносился бесконечно далеко, в неведомые края. Я внезапно приходил в себя, когда ко мне обращались, и часто не мог не только ответить на заданный вопрос, но даже и повторить его. Эта удивительная рассеянность заинтересовала некоторых моих учителей, которые сделали свои выводы и сообщили о них моим родителям. При этом они поспешили добавить, что я отличаюсь примерным поведением и у меня нет недостатка в прилежании. Мое состояние они пытались объяснить психологическими законами. Они утверждали, что хотя все это неприятно, однако в такой рассеянности нет ничего, что внушало бы тревогу. Наконец они восторгались игрою ума в моих французских сочинениях. Они находили, что я в своих изложениях шел всегда наиболее длинными путями.

Я любил писать французские сочинения. Я брал фразу и развивал ее до бесконечности, отдаляясь от темы, но открывая при этом целый мир. Отдаваясь своему вдохновению, подчас довольно вздорному, и с увлечением исписывал страницу за страницей, разумеется, испещряя их орфографическими ошибками. И думаю, что учителям приходилось немало ломать голову над моими сочинениями, ибо учителя мои были чрезвычайно добросовестны и проникнуты сознанием высокого значения своей деятельности и связанной с ней моральной ответственности.

Например, однажды нам предложили написать сочинение про велосипедные гонки. Я начал с описания пустынной дороги, которая извивается среди полей и лугов, где маленький мальчик пасет коров. Потом мальчик бросает камень, чтобы спугнуть птицу, и камень падает посреди дороги. Появляются гонщики. Первый натывается на камень, шина лопается, он падает, задние налетают на него и тоже падают. Коровы, в ужасе от этой свалки, мычат. Мальчишка кричит. Его дядя с фермы слышит крик, бросает работу и спешит на помощь. Он был занят починкой колеса, но что поделаешь, надо разузнать, в чем дело! Возможно, вор угоняет скотину, а может быть, на стадо набросился волк или даже медведь! Дядя хватает вилы и бежит к дороге. Его жена глядит в окошко и удивляется: что с ним такое случилось?! Куда это он так несется? От кого улепetyвает, словно заяц? И так далее и так далее...

Озабоченный тем, чтобы описать все подробности происшествия, я совершенно забыл из-за этого проклятого камня о моих незадачливых гонщиках и лишь под конец наскоро придумал молниеносную развязку, на мой взгляд, довольно забавную: гонщики, покрытые шишками и ссадинами, приходят на ферму просить молока и засыпают крепким сном на соломе, как притомившиеся жнецы...

К моему великому сожалению, сочинения задавались редко. Зато каждое утро меня донимали арифметикой, историей, битком набитой великими людьми, которые только и делали, что подписывали договоры,

географией, орфографией, чтением и так далее. Моя мечтательность, правда, помогала мне переносить весь этот хаос наук, который обрушивался на меня. Но дома меня ждала расплата, потому что мой отец питал к знаниям, хотя бы и книжным, большое уважение.

— Почему ты такой легкомысленный, Иво? Почему ты не слушаешь, что говорит учитель?

— Я не знаю. Я ничего не могу запомнить. Мне скучно.

— Иво, если ты не будешь стараться, ты будешь такой же бедный, как мы, и такой же несчастный. Ты не выберешься из нищеты!

— Я бы очень хотел любить школу, но не могу...

Сколько ни доискивались родители до причины этой плачевной рассеянности, они ничего не могли добиться, так как мои ответы сами по себе были слишком расплывчатыми. Но я прекрасно понимал, что отец имел достаточно оснований беспокоиться за своего непостижимого сына, у которого, казалось, вместо головы был пустой горшок на плечах.

Я чувствовал себя безмерно виноватым, когда отец хмурился и у него вырывался сдержанный вздох. Я много дал бы за то, чтобы стать вдруг одним из тех блестящих учеников, чья слава распространяется далеко за пределами школы и доходит до лавочников всего квартала, — таким же хорошим учеником, как мой брат и моя сестра, получавшие прекрасные отметки.

Но, вопреки всему, одно случайное недоразумение позволило мне познать вкус опьяняющей славы. Однажды директор вошел в класс и направился прямо ко мне, оторвав меня от моих восхитительных витаний в облаках.

— Посмотрите на этого ученика! — воскликнул он. — Он превосходно написал диктант: всего одна ошибка в пунктуации, можно сказать, пол-ошибки! Я поздравляю его и желаю вам всем знать орфографию так же хорошо, как и он. Этот мальчик меня очень радует, потому что орфография не пользуется в нашей школе должным вниманием. А ведь это весьма важная часть школьной программы! Боюсь, что все вы в общем

просто удачливые лентяи. А этот ученик — исключение, что и должно быть отмечено перед всеми вами!

Сказав это, он дружески потрепал меня по щеке, но я не смел поднять головы. Он приписал это, наверное, моей скромности, что послужило лишь к украшению Школьника, Способного к Орфографии.

Восхищению моих товарищей не было границ. Они решили, что я просто плутоватый гений, который обычно забавы ради делает ошибки, но если захочет, может блестящим образом показать свои знания. Итак, к моей сомнительной репутации обаятельного лентяя прибавились лавры избранника. Меня чествовали, как героя.

Нет надобности объяснять, что директор ошибся и принял меня за другого. Эта слава, которую я стяжал в некотором роде нечестным путем, легла мне на сердце тяжестью непереваренного сырого пирога. К воспоминанию об его превосходном вкусе примешивалась горечь его незаконного приобретения. Я не мог не думать о том бедняге, который работал как вол и сделал только одну маленькую ошибку, а в результате оказался лишенным законной награды. Его разочарованное лицо, которое я себе мысленно представлял, причиняло мне боль. Несправедливость, в чем бы она ни проявлялась, вдвойне постыдна: одним ударом она поражает двоих — и того, кого она обездоливает, и того, кого она обогащает. Она хуже двуликого Януса, потому что оба ее лица одинаково злобны.

В серенькой школьной обыденщине были, однако, и просветы. Время от времени находились люди, чья миссия, казалось, состояла в том, чтобы вызывать своим появлением милые, безыскусственные сценки и не давать угаснуть в нас тому огоньку, который школа не умела поддерживать. Среди таких людей была и мадам Педон, консьержка.

Мадам Педон открыла под навесом в школьном дворе нечто вроде киоска, где продавала конфеты, шоколад, рогалики и булочки. Ей трудно было справиться с нами, потому что мы налетали на нее, как прожорливая саранча.

После звонка, возвещавшего большую перемену,

голодная стая бросалась к непрочному прилавку, которым служила плоская корзина, и окружала его, подобно жужжащему рою. Десятки рук протягивались к корзине, а кое-кто под шумок старался что-нибудь стянуть. Те школьники, у которых, как и у меня, редко водились деньги, пользовались кредитом. Корзина опустошалась нами в течение трех минут.

Мадам Педон почти всегда оставалась в убытке: ее ничтожная прибыль поглощалась кредитом, которому она никогда не вела учета, и той «утруской», которой подвергалось содержимое ее корзины. В общем она трудилась даром. Впрочем, нет! Для своего удовольствия. У нее было двое сыновей, наших сверстников, и она знала, что ее маленькая лавочка приносит детям много радости. У нее было золотое сердце, у этой мадам Педон!

Четверги и воскресенья походили на пробоины в длинной и прочной плотине школьных занятий; они были для нас даже значительнее, чем каникулы, когда жизнь не выходила из обычной колеи.

Мы с нетерпением дожидались этих благословенных дней. Даже названия их казались нам прекрасными, особенно «воскресенье».

В эти дни мы часами бегали по пустырю или устраивали походы, дальность которых зависела от возраста участников: старшие заходили иногда на самые окраины города, можно сказать, за тридевять земель.

Несколько часов в эти два дня посвящались так называемым внешкольным занятиям. Нас возили на экскурсии, нам устраивали различные развлечения. Мы ездили за город, где можно было подышать свежим воздухом, наслаждаясь опьяняющими запахами, которые веселый ветер приносил с гор и цветущих лугов. Нас обучали разным премудростям: например, как завязать морской или глухой узел, как развести огонь во время дождя, как из двух палок и двух курток сделать носилки. Нас учили массовым спортивным играм. Нам прививали первые понятия общественности, нас приобщали к коллективу. Походные песни, которые поются хором, помогали воспитанию чувства солидарности.

Во время экскурсий нам случалось встречаться с отрядами такого же рода. Это были соперничавшие с нами учащиеся католических школ. Их можно было сразу узнать по голубым беретам и шарфам. Они также распевали песни, а при виде нас начинали петь с удвоенным пылом. Их сопровождали энергичные аббаты с палками и в подбитых гвоздями башмаках, достаивавшие нас снисходительными улыбками, на которые наши учителя не всегда отвечали. От питомцев аббатов веяло довольством, и они были совершенно иначе экипированы. У них был целый арсенал мячей, флажков, ножей из хромированной стали и топориков для постройки хижин. Многие из этих групп, оснащенных по последнему слову техники, тащили за собой тележки на резиновых шинах, на которых везли множество вещей, вызывавших нашу зависть. Впрочем, среди этих скаутов-католиков попадались и такие, как мы, — дети из рабочих семей. Они дружески нас приветствовали, как это делают моряки, встречаясь среди океана, под какими бы флагами они ни плавали.

В силу некоторых причин мой отец недолюбливал аббатов, хотя два его брата принадлежали к духовному званию, и когда они приехали однажды к нам в гости в Марсель, то произвели на меня впечатление людей во всех отношениях почтенных. Тем не менее отец относился с недоверием к людям в сутанах. Он подозревал, что им ближе по духу богачи. Он ставил им в упрек, что они находят нормальным различие, которое делается во всем между хозяевами и рабочими, и считают, что душа хозяина лучше души рабочего.

Религия, которая таким образом явно освящала социальные барьеры, казалась отцу не такой уж совершенной. Во всяком случае, она в его представлении не мирилась с законами неба: ведь перед богом, говорят, все равны. Однако отец не препятствовал моей сестре, когда та, по желанию матери, готовилась к своему первому причастию. Впрочем, нетактичность одного из этих пресловутых аббатов испортила все дело. Однажды сестра вернулась домой в слезах после преподанных ей наставлений в вере. Ей были заданы

обидные вопросы, ставившие под сомнение нашу лояльность эмигрантов. Ее расспрашивали о деятельности отца, об его связях с антифашистским движением, организованным во Франции итальянцами, не прекращавшими борьбу против Муссолини. По мнению этого аббата, у отца было темное прошлое, поскольку он покинул лоно нации, которая имела преимущество быть более католической, чем французская.

Сестра была страшно оскорблена этими инсинуациями и отказалась раз и навсегда от покровительства церкви. Что касается меня, то я перестал отвечать на приветствия бравых священников, возглавлявших когорты отроков в голубых беретах.

Так шли дни и недели в колонне по одному: четверги и воскресенья — как молодцеватые сержанты с золотыми нашивками, будни — как понурые пехотинцы в серых шинелях. Мне нечего добавить к воспоминаниям об этом периоде. В действительности он был гораздо более насыщенным и чреватым последствиями, но я воспринимал тогда жизнь лишь в одном ее аспекте. Наш район, весь город, весь мир были для меня, наверное, такими же непостижимыми, как уроки в школе, в которых другие находили пищу для размышлений, и пряную и обильную.

Но нельзя требовать от восьмилетнего мальчика, чтобы он во всем разбирался. От этого времени у меня осталась лишь горстка смутных впечатлений, большей частью горько-сладких, как медленно тающая во рту пилюля, отдающая запахом чернил и грязной воды, застоявшейся на школьном дворе. Запахом, с которым у меня ассоциируется мое пролетарское детство.

Беспокойный дух и жизненные потребности заставили нас еще раз переменить жилище. Мебель и домашняя утварь снова были втиснуты в фургон и перевезены в дом, находящийся в тупике Мюрье.

С первого взгляда было совершенно невозможно объяснить, чем наша новая квартира лучше старой. В ней было столько же комнат, и она находилась в та-

ком же малокомфортабельном доме. Правда, при ней была маленькая терраса. Но, вряд ли именно она привлекла внимание моих родителей, хотя удобство такого рода и является обычно внешним признаком благополучия.

Как бы то ни было, нам снова пришлось расставлять мебель, втаскивать через окна пружинные матрасы, кряхтеть под тяжестью плиты и бить фаянсовую посуду, которой мама очень дорожила. Нужно было знакомиться с новыми людьми и угощать красным вином тех, кто принимал горячее участие в нашем переселении. Впрочем, только в подобных случаях и отдаешь должное достоинству этого благородного напитка, который в обычное время дискредитируется шумной невоздержанностью пьяниц. Вино царственно сверкает в бокалах, и когда пьющие поднимают их на уровень глаз и любят его цветом, можно подумать, что они чокаются своими сердцами, как рыцари, уставшие от войн и радующиеся миру.

Пресловутая терраса интересовала нас некоторое время благодаря возможности, которые она представляла для игр. Ведь она могла превращаться в капитанский мостик, а мы — в капитанов дальнего плавания или в мрачных, воинственных корсаров. Но мы быстро потеряли к ней всякий интерес, потому что она была покрыта асфальтом, который самым плачевным образом растапливался в жаркие дни.

Новый район, надолго ставший нашим, носил более благозвучное название, чем тот, где мы жили раньше: Ла Кабюсель. Но отсюда вовсе не следует, что он был более идиллическим.

Там было довольно мало жилых домов, но зато множество грязносерых корпусов заводов и складов. Там находились большие здания «Мессажери Маритим», огромный склад химических удобрений, сахарный завод, бойни, мыловаренные и маслобойные фабрики, завод по переработке утильсырья, к которому стекались отбросы и отходы со всего города, свинцовая плавильня.

От всех этих многочисленных предприятий исходил отвратительный запах, который напоминал о далеких

временах смертоносных эпидемий. Люди с тонким обонянием разбирались в этих миазмах и классифицировали их на вредные и просто неприятные. Первые отравляли легкие, и бывалые солдаты сравнивали их с газами, стелющимися по полям сражений. Жители возмущались и посылали заявления в ратушу. Само собой разумеется, что ответа им приходилось ждать месяцами, но в подписном листе, переходившем из дома в дом, казалось, воплощалась внушающая уверенность сила.

Я и мой брат очень скоро познакомились с новым кварталом, приобрели новых друзей, освоились с обстановкой. Мы были незамедлительно приняты в компанию таких же сорванцов, и скоро нас перестали считать новичками. По правде сказать, дети этого предместья ничем не отличались от ребят квартала Кротт. И здесь перед ними был такой же безотрадный пейзаж, они были так же голодны, плохо одеты и слушали все те же разговоры о рабском труде, о проклятой нищете, о перепалках с соседями. В отношении своего квартала они проявляли корпоративный дух и стояли за него, как бы защищая знамя, которое не ими было выбрано, но которое они подхватили просто за неимением лучшего. Кто станет их порицать за это? Им ведь не во что было больше вложить свою кипучую энергию! Они почти полностью были предоставлены самим себе, им приходилось самим все придумывать, самим обо всем судить и все распределять по категориям добра и зла, грубо и примитивно понимаемым...

Монотонное чередование дней, на краткий срок нарушенное нашим переездом, вошло в обычную колею. От этого времени у меня в памяти остались более осязаемые следы, как будто мое детство с восьми лет перестало быть бесцельным фланерством, обратившись в осмысленное исследование незнакомой страны, в деятельные поиски тех неведомых краев, где легче разгадывается жизнь, где одна за другой раскрываются тайны мира.

Само собой разумеется, я не сознавал этого: мне просто казалось, что события стали более яркими,

впечатляющими, значительными. Теперь, спустя много лет, я вижу, что это был тот волнующий момент, когда в ребенке пробуждается личность подобно тому, как всходит и пробивается к свету росток. Именно тогда я начал самостоятельно мыслить, именно тогда сформировался мой внутренний мир. В это время я по-настоящему начал понимать смысл некоторых слов, исполненных такого значения в наши дни: «полицейский», «солдат», «пролетарий».

Слово «полицейский» немедленно вызывало в моем представлении образ одного изверга. Этот человек в мундире медленно едет на велосипеде по нашему предместью. Он бросает испытующие взгляды по сторонам, как на смотре. Лицо его ничего не выражает, кроме холодного удовлетворения. Он похож на отдыхающего зверя. Кобура его револьвера ярко блестит. Брюки на шиколотках стянуты зажимками. Это полицейский-велосипедист, который живет на бульваре и терроризирует весь квартал Кабюсель.

Полицейский весьма гордился своей репутацией. В обществе обывателей, у которых ему случалось бывать, он без стеснения распространялся об избиениях, происходивших в полицейском участке. Смакуя подробности, он рассказывал о кровавых сценах, о том, каким глухим звуком сопровождается удар ногой в живот, как по-детски жалобно кричат истязаемые (он называл их клиентами), как после «сеанса» на полу находят выбитые зубы. Послушать его, он был первым специалистом в этом деле, и его товарищи не могли нахвалиться его работой. Когда при этом присутствовали женщины и дети, он впадал прямо-таки в лирический тон, надеясь привлечь расположение одних и боязливое восхищение других. Он наслаждался тем, что его именем измученные матери страшили мальчишек, когда убеждались, что пощечины на них уже не действуют. Эта роль пугала позволяла ему разыгрывать из себя важную птицу и запросто подходить к женщинам, окруженным выводком ребят:

— Ну, как ваши разбойники? Если они не слушаются, приведите их ко мне! Я их мигом вышколю! Не с такими справлялся!

При этом он выпячивал грудь и самодовольно по-смеивался, потом проворно вскакивал на велосипед и уезжал, перебирая в памяти случаи из своей практики, когда он особенно успешно применял «исправительные меры».

Всякий раз, как я встречался с этим полицейским, меня бросало в дрожь. Он заставлял меня вспоминать о моем дядюшке-фашисте, который выжил нас из Монсумано Альто. Я страстно ненавидел этого типа и от души желал, чтобы в один прекрасный день ему как следует досталось от какого-нибудь ревнителя правосудия, — лучше всего от какого-нибудь мозгляка: это сбило бы с него спесь!

Мои мечты до некоторой степени сбылись. Во время одной манифестации его основательно вздули, и он провалялся в кровати целые две недели.

У этого полицейского было трое детей, и, казалось, он испытывал к ним нормальные человеческие чувства. Откуда эти чувства у него брались, одному богу известно! В глубине души он считал себя достойным гражданином, защитником порядка и верным слугой отечества. Сейчас он наверняка уже вышел в отставку и, должно быть, с наслаждением предается своим гнусным воспоминаниям, покуривая скверные сигаретки.

Что касается солдат, то они явно были людьми из другого мира. Они проводили время в непонятных передвижениях, маршируя вокруг квартала, и улыбались нам, показывая ослепительно белые зубы.

Это были сенегальские стрелки. Звуки горна, доносившиеся из их казармы, напоминали вой диких зверей и вызывали у нас необъяснимую тоску.

Иногда стрелки выходили маленькими подразделениями, таща с собой какие-то ящики, бидоны и лопаты. Их сопровождали горластые сержанты со сверкающими на солнце золотыми нашивками на рукавах. Эти сержанты, по большей части украшенные татуировкой, надувались, как пегухи, при виде проходящих мимо девушек. Более крупные отряды стрелков обычно вели лейтенанты, а иногда и капитаны, гарцевавшие на маленьких резвых лошадках, которых они с трудом

сдерживали. При больших выходах солдаты обычно несли ружья на плече. Они вздымали облака тончайшей, как мука, пыли и уже не отвечали на наши дружеские приветствия. Капитаны стрелков были белые, сержанты смуглые, а солдаты черные.

Появление сенегальцев вызывало среди нас оживленные толки.

— Отец говорит, что это самые лучшие солдаты!

— А мой брат говорит, что они отрезают уши бошам!

— Мой дедушка говорит, что они никогда не отступают и скорее умрут, чем сдадутся.

Мощь всегда импонирует. Превосходная выправка стрелков вызвала представление о победах, одержанных под бой барабанов, и странным образом заставляла забывать о поле битвы, усеянном трупами.

Эти сенегальцы, построенные в колонны по четыре и одетые в мундиры цвета хаки, казались нам рожденными для военного поприща. Нам даже не приходило в голову, что они могут расстаться со своим снаряжением и превратиться в людей, подобных нашим отцам. В нашем представлении они принадлежали к совершенно иному миру, и именно это разжигало наше любопытство... Тем не менее добродушное поведение солдат, когда при них был только сержант, сближало нас с ними. Мы вертелись вокруг них, выклянчивая сигаретки, которые они швыряли нам, разительно смеясь. Мы и не подозревали, что вся эта казенная воинственность имела единственной целью низвести их до уровня автоматов, отнять у них любовь к свободе, искра которой таится в людях от рождения. Для нас, детей, их служба была на грани игр. Поэтому война, когда мы о ней говорили, превращалась в забавное и шумное, но интересное развлечение. Благодаря подобному обману зрения имеет успех даже самая худшая ложь. После этого остается сделать один только шаг, чтобы ввергнуть народы в страшный катклизм.

«Полицейский», «солдат»... Но существует еще одно слово — «пролетарий», которое вызывает у меня в па-

мяти целую галерею образов. Среди них особенно ярко вырисовывается фигура армянина Гарабедаряна.

Гарабедарян был, по меньшей мере, так же внушителен, как полицейский, но в остальном ничем не походил на него. Он воплощал идеал добродушного великана. В этом гиганте, которому следовало бы быть борцом, участвовать в жестких схватках, обитала удивительно нежная душа.

Он жил в сколоченной из досок лачуге, бывшем курятнике, который побелил известкой, придав ему таким образом приличный вид. Он жил совершенно один и сам приготовлял себе пищу. Он отворял дверь своего жилища с большой осторожностью, потому что одним неловким движением мог ее сломать. Казалось, будто он выходит из дома, в котором живет нежная, хрупкая фея; она больна, и он просто заходил к ней справиться об ее самочувствии, прежде чем пойти на свою тяжелую работу в порт: Гарабедарян был докером. Воскресенья он посвящал двум своим любимым занятиям: музыке и приготовлению сладостей. Он привез со своей родины гитару необычной формы и извлекал из нее мелодии, проникнутые глубокой печалью. Он играл для самого себя, сидя с полузакрытыми глазами на ящике, освещенный мягким утренним солнцем. Нам казалось, что голуби, которые летали вокруг лачуги, ловили в воздухе обрывки этих мелодий. Мы, как голуби, — но, увы, бескрылые, — притихнув, окружали музыканта, взволнованные чудесными звуками.

Изготовление конфет, как всякая праздничная стряпня, сопровождалось веселым оживлением. Гарабедарян ставил на импровизированный очаг большой чугунный горшок, растапливал в нем сахар и быстрыми движениями взбивал метелочкой сироп. Доведя его до надлежащей температуры, он добавлял туда коринку, истолченный миндаль и прочие специи. Когда смесь становилась молочно-белой и густой, как тесто, он выливал ее на железный лист, смазанный маслом, и своими большими, сильными руками легонько разравнивал и приглаживал эту массу. Потом он разрезал свое печиво на маленькие квадратики и раздавал всем

поровну... И до самого вечера над его жилищем витало как бы сладкое облачко, которое в отблесках заката становилось почти зримым, как мираж.

Если в квартале Кротт моим излюбленным местом был пустырь, то теперь, когда мы жили в тупике Мюрье, таким местом стали набережные.

Мне было уже десять лет, и я мог убежать на более далекие расстояния от дома. Говоря техническим языком, я расширил свое поле деятельности. С моим неразлучным приятелем — сверстником Мариусом Середом мы отправлялись в путешествия по таинственной «по man's land» *, находящейся между манившим нас морем и удерживавшей землей. Проводя здесь целые часы, мы становились свидетелями зрелищ, которые можно наблюдать только на набережных.

Близость грузовых пароходов, украшенных пестрыми флагами, волновала наше воображение. Увлеченные рассказами, которые ходили в нашей компании, легковой и поддающейся всяким мистификациям, мы, в свою очередь, попались на удочку, приняв за чистую монету, что в Соединенных Штатах легко можно сделаться сыщиком уже в двенадцать лет. Нас привлекала заманчивая перспектива стать шерифами. Мы с Середом представляли себе, как мы стреляем в бандитов где-нибудь в шикарном салоне, который превращается в место невообразимой свалки. Прислонившись к огромным ящикам, мы, словно заговорщики, совещались о том, как осуществить наш замысел о переселении на эту обетованную землю. Строя планы побега, мы черпали вдохновение в прочитанных нами книжках с картинками вроде «Двенадцатилетнего репортера» или «Юного следопыта». Нужно было только найти капитана, который бы понял нас или, еще лучше, запасшись провизией, тайно пробраться на корабль, идущий в Нью-Йорк, и спрятаться в трюме между ящиками и тюками. Мы прибегали к дьявольским уловкам, которые нас самих приводили в восхищение, чтобы подслушать разговоры матросов. Но в их разно-

* Ничейная земля.

язычном говоре мы улавливали лишь самые простые, общепонятные слова: «yes», «по», «si», «ja», «нет».

Охваченные лихорадочной жаждой деятельности, мы не поддавались унынию. Мы представляли себе победы, которые надеялись одержать по ту сторону океана, и это приводило нас в экстаз. Каждый из нас начал собирать в надежный тайник запас консервов, необходимых для побега, к которому мы готовились с предусмотрительностью и хитроумием искателей приключений. Чтобы священный огонь не угас в наших сердцах, мы иногда устраивали большие маневры. Мы забирались в вагон для перевозки скота, зарывались в солому и ждали, что будет дальше. Лязг буферов, короткие переезды между стрелками, крики железнодорожников, распорядившихся движением, наполняли наши сердца томительным чувством, не оставлявшим нас и тогда, когда мы уже выскакивали на ходу из вагона, идущего на запасные пути. То обстоятельство, что нас никто не обнаруживал, заставляло нас думать, что нам предначертана удача. Однако благоприятный случай так и не представился, и идея вершить правосудие в Америке была нами оставлена, хотя и не совсем ясно почему.

Отплытие больших пакетботов было еще одной причиной сильных переживаний. Переполненные пассажирами, пароходы медленно, но непреклонно отчаливали от пристани, и мы показывали друг другу пальцами на пенящийся след за кормой. Те, кто отплывал, и те, кто оставался, махали друг другу платками, которые развевал свежий бриз. Потом их руки опускались, как планки семафоров, только что показывавших, что путь открыт.

Около кораблей, которые готовились к отплытию, всегда кипела жизнь. Торговцы всякой всячиной беспрестанно сновали туда и сюда, надоедая своими криками благодушным туристам. Рев гудков действовал на толпу, как электрические разряды, женщины в панике кидались к сходам. Обычно в этот момент появлялись странствующий музыкант и его помощник. Их удивительно своевременный приход наводил в толпе некоторый порядок.

Музыкант взбирался на ящик, вынимал из футляра скрипку и начинал ее мучительно долго настраивать. Скрипучие звуки, которые издавал при этом его инструмент, выводили из себя людей, взволнованных предстоящим отъездом. Затем музыкант с унылым видом принимался наигрывать избитые мотивы, страшно при этом фальшивя. Тем временем его приятель, нагруженный гнилыми апельсинами и помидорами, взбирался на пароход и продавал их пассажирам, шепча каждому на ухо, что ими можно швырнуть в незадачливого музыканта. Лукавый подстрекатель сам давал знак к избиению.

Сначала бросали робко, неуверенно. Апельсины и помидоры не долетали до цели. Затем люди входили в азарт, начинали целиться точнее: вот-вот не один, так другой угодит в растерявшегося музыканта. Однако он продолжал пикировать на своей скрипке. Метательные снаряды летали все чаще, и, наконец, один из них поражал живую мишень, и красноватая жижа обрызгивала скрипача. Толпа встречала аплодисментами это удачное попадание, и цены на «боеприпасы» возрастали. А через минуту уже целый ливень гнилых фруктов обрушился на несчастного.

Иногда кто-либо ухитрялся угодить прямо в скрипку, и выбивал ее из длинных, худых рук музыканта. Покрытый вонючей жижей, он спрыгивал с ящика, скользя на грязном месиве, подбирая свои деньги, шляпу и скрипку и пускался наутек, преследуемый улюлюканьем тех, кто отличился в этом спортивном состязании. Раскаты смеха были похожи на трубные звуки, и веселье не прекращалось до самого отплытия парохода.

Ходили слухи, что музыкант и его приятель зарабатывают уйму денег. Однако, когда мы их видели за столиком на террасе какого-нибудь кафе, они вовсе не походили на веселых пройдох. Тем не менее они были в своем роде знаменитостями. Эти избиения забавляли нас не меньше, чем брюки Чарли Чаплина.

Наши прогулки по набережной не всегда были лишены практической цели. Слоняясь ватагами, мы охо-

тились за бананами, апельсинами и земляными орехами. Такие набеги были куда увлекательней простых прогулок. Они приносили определенные плоды и, вообще говоря, были почти безопасны: ведь на набережных товары не охраняются, как в магазинах, где хозяин самолично стережет свое священное добро. Пожалуй, именно эта безнаказанность толкнула нас на следующий шаг: мы принялись опустошать лотки. Но тут нам не раз приходилось расплачиваться за нашу жажду сильных ощущений, потому что торговцы, стараясь нас поймать, проявляли чудеса проворства. Правда, мы выбирали среди них тех, кому уже перевалило за сорок и кто страдал каким-нибудь недугом, мешающим быстро бегать. Тем не менее они иногда догоняли кого-нибудь из нас. Когда дело доходит до денег, у всех ноги оказываются достаточно быстрыми!

Я вспоминаю одну из таких охот, в которой играл роль преследуемого оленя. Я лежу на грязной мостовой у ног обступивших меня людей. На меня сыплются увесистые тумачи. В ушах стоит гул от прилившей крови, и я слышу одно только слово, которое все повторяют: «Полиция!..» В моем сознании тотчас возникает массивная фигура полицейского на велосипеде, и это придает мне силы. Я вскакиваю, прорываюсь сквозь толпу зевак и исчезаю в каком-то спасительном погребе, где в течение получаса у меня трясутся поджилки...

Изведав сладость и горечь самых острых приключений, мы отправлялись передохнуть на второй мол, где выгружают уголь, серу, руду, цемент и другой груз, который не требует особых предосторожностей при разгрузке. Расположившись в тени, мы следили за работой докеров.

Но долго смотреть на эту работу нельзя: становится тягостно. Цепочки людей, несущих на спине тяжелый груз, до ужаса напоминают муравьев. Эти муравьи, встав на задние лапки, проникают в трюм и вылезают обратно с добычей под надзором неумолимых надсмотрщиков. Постепенно сокровища, извлеченные из трюмов, скопляются на набережной. Невольно спрашиваешь себя: для кого все это? В царя-

щем здесь строгом порядке чувствуется нечто грозное, неумолимое. Человеческая сущность этих гигантских насекомых обнаруживается, когда они скажут слово, выругаются, выпьют стакан вина или кружку пива. Чувствуешь, что их гнетет какая-то жестокая воля — скрытая, но от этого не менее зловещая, и проникаешься к ним жалостью.

Среди людей, превращенных злым гением в насекомых, мы иногда узнавали и нашего друга Гарабедаряна. Его сила была здесь как нельзя более кстати, и он с легкостью переносил стокилограммовые кули, под которыми шатались другие грузчики. В свой труд он вкладывал какое-то мрачное упрямство: так ведут себя слоны, во что бы то ни стало доводя до конца свою титаническую работу. Мы присутствовали при состязании между человеческим упорством и давящей инертностью материи.

Однообразие унылого зрелища порой нарушалось более или менее серьезными происшествиями, которых мы поджидали со сладострастием зрителей, наблюдающих за укрощением диких зверей. Нет-нет, случится какая-нибудь неожиданность, кто-нибудь оступится, возникнет спор. Каждую минуту могла начаться потасовка, свалка. Так львы выходят из повиновения и внезапно бросаются на укротителя, чтобы его загрызть.

Из разговоров, слышанных дома, у нас составилось общее представление о жизни докеров, впрочем, не всегда верное. Докеры принадлежали к профсоюзу, который заботился о том, чтобы их работа не превращалась в сплошную каторгу. Этот профсоюз, который в наших глазах приобретал облик бдительного стража, черпал силу в строгой дисциплине своих членов. Он рисовался нам гигантом, прислонившимся к подъемному крану и готовым дать отпор непомерным притязаниям порабитителей.

Наш друг армянин Гарабедарян однажды рикошетом пострадал в этой борьбе между двумя враждующими лагерями. Стремясь добиться благосклонности хозяев и опасаясь, что малейшее подозрение, будто он работает не в полную силу, обрушит на него гнев

начальства, лишит его куска хлеба и прав эмигранта, он решил «поднажать» и ускорить разгрузку. Взвалив стокилограммовый куль на свои могучие плечи, он, казалось, не чувствовал тяжести и с этим грузом мог почти бежать. Товарищи просили его подумать о тех, кому и без того трудно таскать ношу. Гарабедарян отвечал им, что каждый волен делать, что хочет, и что он имеет право бегать, раз ему позволяют силы. А другие пускай выбирают себе какую-нибудь женскую работу или, к примеру, становятся гитаристами, если уж они так заботятся о своем здоровье. С ним заговаривали об этом не раз, но он стоял на своем. Он смотрел на вещи довольно примитивно: к нему просто придираются, потому что он думает не так, как другие. А кому какое дело, что он думает? Но одна хитрая проделка вышибла у него эту олажь из головы.

При разгрузке, перенося мешки, докеры пользуются длинной гибкой доской, заменяющей мостки. Чтобы под их тяжестью доска не так сильно качалась, все идут по ней в ногу. Неловкое движение, неверный шаг — и происходит сотрясение, которое может быть роковым для тех, кто находится на доске. Зная, что великана Гарабедаряна можно убедить в чем-либо только силой, его однажды вывели из равновесия внезапным толчком. Гарабедарян упал вместе со своим мешком, перекувырнулся, как заяц, и с минуту пролежал оглушенный. Виновника он так и не нашел, а врожденная справедливость помешала ему броситься на первого попавшегося докера, который смотрел на него, ухмыляясь, и спрашивал, не ушибся ли он. Вечером его друзья дали ему понять, что такие неприятные случаи могут частенько повторяться, если он и впредь будет бегать с грузом, как лошадь. Он решил, что друзья правы, и стаканчик красного вина смыл осадок, который оставался от поражения. Было выпито и за здоровье профсоюза и за разорение проклятых хозяев.

После таких поучительных уроков на свежем воздухе мы возвращались домой молча. Две-три очевидные истины запечатлевались в наших умах и западали

в душу, как медленно прораставшие семена, посеянные самой жизнью.

Я снова видел улицы, тупики, дома, а над ними — высокое, широкое зеленоватое небо. В окне стояла мать и звала меня обедать. Чтобы выразить свою нежность и заглушить неведомые мне тревожные мысли, она звала меня по-итальянски:

— Jvo, montal Jvo, montal *

* — Ив, поднимайся наверх!



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда отец приехал в Марсель, ему не пришлось особенно раздумывать над вопросом, какого рода работой теперь заняться. Подгоняемый нуждой и терзаемый гнетущей тоской, знакомой каждому эмигранту, он взялся за первую попавшуюся и был еще счастлив, что нашел хоть эту. Он нанялся на маслобойню. Поло-

жение чернорабочего было тогда в высшей степени непрочным. Подкрадывалась безработица, и каждое утро, приходя на завод, рабочие спрашивали себя, не предложат ли им сегодня получить расчет. Чувство небезопасности вселялось в них, как хроническая болезнь, и делало их угрюмыми и раздражительными. Они жили, как приговоренные к казни, получившие отсрочку.

Итак, моего отца швыряло из стороны в сторону, и ему приходилось думать, подобно потерпевшему кораблекрушение: «Если у меня выскользнет из рук эта балка, нужно любой ценой ухватиться за обломок мачты, или за бочку, или за какую-нибудь доску, пока у меня не иссякла энергия». Поглощавшие отца заботы, неотступные, как навязчивые идеи, избородили его лицо морщинами и сделали еще более явственным выражение тихого отчаяния, свойственное ему в минуты безрадостных размышлений. Навязчивые идеи пагубны для того, кого они преследуют. Они фантастически быстро завладевают сознанием, убивая живые, действенные мысли. Они заполняют его удручающими химерами. И вот, чтобы воспротивиться им, отец усилил свою активность в поисках реального выхода из положения и опять начал подумывать об изготовлении полых щеток.

Возвращаясь с работы, когда уже начинали сгущаться сумерки, он находил отдохновение в проектировании такого промысла. За ритуальной полентой он развивал свой план, выдвигая как конструктивные идеи, так и возражения. Как и он, захваченные миражем, мы сами удивлялись, что перед нами мало-помалу возникает обольстительное будущее. У нас не хватало трезвости, чтобы отдать себе отчет в том, что речь шла лишь о прежних славных днях Монсумано Альто, которые, подобно призракам, возвращались к нам преображенными до неузнаваемости, принося с собою пленительное волнение. От нас ускользала та почти магическая операция, в которую выливались в конечном счете эти семейные советы. Мы доходили даже до того, что прошлое в наших воспоминаниях утрачивало всю тяжесть горестей и сохраняло лишь

райские краски. И мы хотели во что бы то ни стало вновь обрести этот утраченный рай.

С тех пор отец стал похож на потерпевшего кораблекрушение, который увидел на горизонте берег. Теперь он еще судорожнее цеплялся за плывущие обломки, удесяттерив свои усилия. Мать помогала ему. Они на всем сэкономили. Они призяняли денег. Наконец они открыли маленькую мастерскую по изготовлению половых щеток и наняли трех рабочих, которые, впрочем, были для них скорее компаньонами. Но год спустя забрезжившая было надежда вдруг рухнула. Разразилось банкротство: у нас были долги на сумму тридцать две тысячи франков, что для ремесленника в 1932 году составляло целое состояние...

Как осажденный город или преследуемая секта, семья, чтобы отразить угрозу, сплотилась вокруг своего главы, выбитого из седла. Между отцом и матерью происходили совещания, подобные тем, какие бывают в палатках полководцев накануне решительных сражений. Потом на каждого была возложена особая миссия: родители снова начали работать на стороне, сестра поступила в парикмахерскую, брат сначала стал официантом в одном буфете на набережной, потом нанялся в качестве подручного на рафинадный завод, а меня устроили на завод макаронных изделий. Мне было тогда одиннадцать лет.

Героические решения имеют то достоинство, что они отрезают пути к отступлению, оставляют один только выход и тем самым мобилизуют все душевные силы. Я внезапно простился со школой и школярством, чтобы решительно вступить в клан взрослых мужчин. Я перестал принадлежать к категории тех, на кого тратят деньги, чтобы присоединиться к тем, кто их зарабатывает. Острое чувство высокого значения этого шага, горделивое сознание оказанного мне доверия и уверенность в том, что я способствую общему спасению, позволили мне без особых сожалений предоставить моим товарищам продолжать без меня ту увлекательную интермедию, которая разыгрывается в конце школьного возраста, когда каждый поверяет другим, что он собирается делать потом. Но поскольку

и посвящал себя определенному делу, для меня не существовало больше широкого выбора соблазнительных возможностей, открывавшихся перед другими. Это ощущение, что я отослан на последнее место, поставлен в самое неблагоприятное положение, сыграло немалую роль в том, что скоро я захандрил. Я был в настроении игрока, чья фишка, как это бывает в настольных играх, вернулась к нулю, благодаря неудачно брошенным костям, тогда как он мог надеяться на выигрыш.

Незадолго до того, как на нас обрушилось это злосчастное банкротство, я был очень болен. Я вдруг начал вытягиваться не по дням, а по часам. Это сопровождалось мучительными болями в плече и в ногах, и врач сказал, что у меня, вероятно, возрастной ревматизм. Я несколько недель лежал в постели, довольно боязливо наблюдая таинственное явление природы, в силу которого я рос, как тропическое растение, и, казалось, все мое тело претерпевало какие-то изменения. Метаморфоза бабочки, как ее описывают в классе, неизменно вызывает замешательство. Хотя насекомое, возникающее в результате такой метаморфозы, в тысячу раз чудеснее гусеницы, судьба этой последней тем не менее патетична. Превращения из одной формы в другую слишком похожи на фокусы и всегда заставляют жалеть о том, что утрачивается при этих превращениях. Я мог сколько угодно говорить себе, что, оправившись от болезни, стану молодым человеком приятной наружности. Меня тем не менее печалило, что я никогда уже не буду прежним сорванцом. Мои страхи, впрочем, были не напрасны: упомянутый молодой человек оказался долговязым и тощим, как жердь, похожим на тех верзил, которых в комических фильмах выводят из себя надоедливые маленькие толстячки, вызывая дружный смех публики.

Первые дни работы были озарены для меня обманчивым нимбом, свойственным всякой новизне. Я увидел сложные машины, которые не могли не возбуждать любопытства. Многие на заводе ускользало от моего понимания, казалось таинственным, и это включало его в чарующую сферу мифического. Он

принадлежал к удивительному миру, который всегда восхищает толпу и законы которого резюмирует ставший уже классическим пример чикагских боен: с одного конца впускают свиней, с другого выходит ассортимент консервов. Этот механический мир, чья цель — трансформация, скрытая от взоров непосвященных, ошеломляет и вместе с тем приводит в восторг, как это умеют делать артисты, превращающие цилиндры в кроличьи садки. В данном случае речь шла всего лишь о пшеничной муке, поступавшей в одни ворота, и мучных изделиях, вывозившихся через другие. Но движение каждой крупинки через весь завод и испытания, которым она подвергалась, были тем не менее поразительны...

Позже, когда я познакомился с производством во всех подробностях, многочисленные операции и манипуляции утратили для меня свою привлекательность и потонули в монотонной обыденщине.

У меня была нетрудная работа. В мои обязанности входило готовить для упаковки различных изделий — спагетти, ракушек, лапши, вермишели, рожков и т. д. — соответствующий набор целлофановых пакетов, всовывая эти пакеты один в другой, чтобы их можно было бесперебойно подставлять под желоба машин, подающих готовые изделия.

Вначале я обрадовался, что меня поставили на такую легкую и спокойную работу, но скоро узнал на собственном опыте, что некоторые занятия в силу своего однообразия тягостнее тех, которые требуют большего мускульного напряжения. Копашась в неисчерпаемых грудях пакетов, которые мне нужно было перебирать по одному, я напоминал существо, измышляемое ради наглядности, чтобы объяснить детям понятие бесконечности. Таков, например, человек, который должен вычерпать все моря земного шара с помощью чешуйки сардины вместо ковша, чтобы этой титанической работой отмерить всего лишь одно мгновение вечности. Я не мог дожидаться понедельника, чтобы избавиться от этого наваждения: по понедельникам я сопровождал шофера Фука, который развозил на грузовике макаронные изделия по окрестным го-

родкам. Сидя с ним рядом в кабине, счастливый, как принц, объезжающий в карете свои владения, я смотрел, как мимо нас назад бегут пейзажи, размеченные, словно вехами, указательными столбами: Мартиг, Ла Сиота, Касси, Пор-де-Бук, Обань...

В действительности эти поездки были прозаичнее, чем мне казалось. Выгружать пакеты на каждой остановке и относить их на склад или в магазин было нелегко, тем более что я разыгрывал из себя взрослого мужчину и всякий раз брал больше пакетов, чем следовало бы, стараясь не ударить лицом в грязь перед г. Фуком, чье уважение мне было необходимо. Я обливался потом под тяжестью ноши и чувствовал, как у меня набухают жилы на шее и кровь молотком стучит в виски. Удовлетворение, которое я испытывал после этих упражнений, утверждало меня в мнении, что время безделья для меня окончательно прошло и что отныне я тружусь в положительном мире, где каждый шаг чреват серьезными последствиями. Мое участие в снабжении людей пищей еще усиливало это сознание: хлебодары занимают стратегически важное положение в обществе и поэтому скорее других могут проследить за результатами своей деятельности.

Расставаясь с детством, я вместе с тем покончил с короткими штанами и черными передниками. Я носил теперь брюки, шейный платок, парусиновую кепку. Я старался курить, не вынимая сигареты изо рта, что является неопровержимым доказательством наступающей зрелости. В глубине души я был недалеко от мысли, что ко мне должны относиться, как к настоящему мужчине, и если, например, мне предлагали конфетку, я чувствовал себя глубоко оскорбленным. Зато когда лавочники, которым мы доставляли товар, на дорогу угощали меня, как и г. Фука, стаканом красного или рюмочкой абсента и мы с ним чокались, это наполняло меня счастьем.

Мне пришлось проработать два года на заводе макаронных изделий, день за днем уныло копошась в целлофановых пакетах, приободряясь лишь по воскресеньям и во время разъездов на грузовике. Я приносил домой более чем скромную зарплату, которой

научился дорожить, как варвар своей долей добычи. Эта жалкая сумма, которую мне выдавали в обмен на поденное рабство, очень быстро заставила меня усвоить соответствующий образ мыслей. Мне было трудно считать справедливым такое положение вещей, при котором я всегда оставался страдающей стороной в сделках и за мной отрицалось право самому устанавливать цену за свои услуги. В то время я не то чтобы сознавал социальную несправедливость, а скорее испытывал чувство ущемленности, довольно похожее на обиду мальчугана, который замечает, что правила игры не одни и те же для всех. Мне надоело всегда быть тем, кому говорят: «Получишь столько-то!», как надоело бы в играх, которые мы затевали бывало на пустырях, всегда быть разбойником, убегающим от жандармов. Я не знал, что касаюсь здесь одной из язв капиталистического строя, при котором немногим избранным предоставляется привилегия устанавливать тарифы, тогда как пролетарии должны постоянно подчиняться указаниям так называемых компетентных лиц, изрекающих свои безапелляционные решения с недостижимой высоты и вопреки логике отказывающихся трудящимся в праве составлять смету на свой труд и свою сноровку. В общем я становился революционером.

Одно грубое злоупотребление властью со стороны моего патрона меня попросту озлобило, и я ринулся в бой с той неистовой яростью, которая питается долго подавлявшимся желанием все разнести. Этот человек, вообще говоря, не злой и веселый в обращении, решил удержать из моей зарплаты стоимость бутылки с минеральной водой, которую я разбил, выгружая из машины. Если бы я допустил неосторожность, я, быть может, и понял бы его требования. Но у плетенки, в которой была злополучная бутылка, внезапно прорвалось дно, чего я, понятно, не мог предвидеть. Хозяин с упорством носорога отказывался принять в расчет мои доводы и стоял на своем, на все отвечая пресловутым изречением: «Виноватого бьют!» Он повторял его металлическим голосом, что придавало ему почти непреодолимую силу очевидности. Он развивал его, прибегая к обычным примерам: посетитель быстро, зака-

завший пиво и разбивший свою кружку, платит и за кружку и за пиво; сорванец, угодивший из рогатки в витрину, должен возместить убытки и т. д. и т. д. Он не признавал никаких особых обстоятельств и не желал считаться ни с какими нюансами. По его мнению, хороший рабочий должен был бы предварительно удостовериться в прочности каждой плетенки.

На эти слова, якобы подсказанные здравым смыслом, я отвечал отчаянными дерзостями. Словом, я ушел, хлопнув дверью, не в силах терпеть, чтобы мной командовала такая скотина. Мне было тринадцать лет, и я стал безработным...

Маленькая революция, которую я совершил на свой страх и риск, несколько взволновала моих домашних. Они без конца пережевывали ту мысль, что отстаивать справедливость невозможно без жертв, а поэтому не всегда можно позволить себе такую роскошь. Они сожалели о том, что я лишился заработка, но хвалили меня за храбрость, проявленную перед лицом несчастья. Из этой истории сестра сделала вывод, что место, которое я потерял, не сулило мне никакой будущности, но что я могу специализироваться в парикмахерском деле. Так как ей как раз нужен был помощник для работы в парикмахерской, которую она недавно открыла, мне сам бог велел занять эту должность. К тому же я получал, таким образом, привилегию работать на свою семью, а не на хозяина. Короче, происшествие в конечном счете оборачивалось к моей же выгоде.

Нетрудно догадаться, что парикмахерская у сестры была далеко не роскошная. Она помещалась в бывшем гараже шести метров в длину и трех в ширину, в котором пол выложили кафельными плитками, а стены покрасили белилами. Мраморные доски, кое-как укрепленные на деревянных брусках, заменяли столики. Наконец несколько аппаратов для завивки и сушки волос, занимая почетное место, сглаживали, насколько это было возможно, жалкое впечатление, которое оставлял салон.

Первыми клиентками были соседки. Обслуживая их, сестра превзошла самое себя, и несколько удачных причесок, наглядно свидетельствуя о ее мастерстве, послужили ей рекламой. Мало-помалу она приобрела в квартале прочную репутацию, и дамы считали ее гением по части завивки. Кроме того, она всегда была к их услугам, даже в самое неурочное время: поднималась в четыре утра, чтобы причесать тех, кто уходил на работу рано утром и возвращался поздно вечером, принимала посетительниц в воскресенье. Благодаря ее терпеливым усилиям салон стал для нашей семьи самым надежным источником доходов, и именно ее заработки позволили погасить долги на сумму тридцать тысяч франков, которые принесла нам злосчастная торговля половыми щетками.

Как и два года назад, когда я поступил на завод макаронных изделий, меня ввела в заблуждение новизна обстановки, и положение ученика в парикмахерской, с большими или меньшими к тому основаниями, показалось мне украшенным многими преимуществами, льстившими моему тщеславию. Тот факт, что парикмахер управляет электрической аппаратурой и, как абсолютный монарх, властвует над клиентками, наполнял меня сознанием собственной важности и заслонял от меня недостатки моего нового ремесла. Всякая профессия, будь то самая скромная и неприятная, имеет ту или иную сторону, которая внушает иллюзии людям этой профессии.

На меня была возложена подсобная работа, а такой работы в парикмахерской хоть отбавляй. Я суетился и вертелся вокруг сестры, ревнисто стремясь к совершенству в выполнении своих несложных обязанностей, которое состоит в умении подавать предметы как раз в тот момент, когда они должны потребоваться, но все-таки раньше, чем их потребуют. Благодаря профессиональной добросовестности я приобрел солидные теоретические познания в искусстве преобразования шевелюр и немало гордился своими успехами.

Когда человеку вдруг приходится заняться ремеслом, о котором он никогда не думал, редко бывает, что

оно ему нравится. Обычно оно сохраняет в его глазах элемент принуждения, губительный для рвения и энтузиазма. Однако сестра сумела мне внушить, что парикмахерское дело само упало мне в руки, как крупный выигрыш, и что мне очень повезло. Впрочем, она не вкладывала в это никакого лицемерия, потому что действительно обожала свою профессию и говорила о ней с какой-то чудесной наивностью. В ее устах случайное открытие секрета перманентной завивки стояло на уровне изобретения колеса или трудов Пастера. Она красноречиво восхваляла того ниспосланного самим провидением подручного пекаря, который нашел в форме вóлос, свившийся спиралью, и у которого хватило сметки сделать вывод, что причиной этому тепло, — открытие, проложившее дорогу горячему перманенту. Поразительная простота наблюдения, сделанного этим пекарем, и исключительный резонанс, который оно получило, были в то время для меня элементами басни, перебрасывающей своей магической властью мост к грандиозным надеждам: стоило пошире раскрыть глаза, быть повнимательнее, и я мог завтра же совершить подобный подвиг и достичь богатства и славы. Эта возможность уж не знаю какой восхитительной находки долго служила мне стимулом и избавляла меня от скуки. То было окошко в тюремной камере, через которое заключенному виден кусочек неба, то был ключ к романтике, подсунутый под половик, по которому проходишь изо дня в день.

Первый аппарат для перманентной завивки показался нам в высшей степени сложной машиной. Похожий на робота, он будил какую-то смутную тревогу, и ему было легко приписать самостоятельные поступки и свою особую жизнь. Когда он был собран и налажен, сестра и мать погладили его, как гладят животное, перед которым заискивают. Он величаво возвышался посреди салона, словно восседающий на своем троне обидчивый монарх, готовый принять решение, издать указ, который поставит на карту судьбу королевства. Наконец его присоединили к электросети и решили испытать на мне.

Сначала мне очень тщательно сделали два завитка

на шее, — можно не сомневаться, что это были прелестнейшие в мире завитки. Потом меня усадили. В последний раз проверили, все ли в порядке, обращаясь поочередно к каждому параграфу инструкции. Наконец включили аппарат. Я читал об электрическом стуле в Синг-Синге и сразу подумал именно об этом орудии казни. Я в самом деле решил, что погибаю. Я принялся корчиться и вопить на потеху маме и сестре, видевших в этом всего лишь дурачество или уловку неженки, который не может спокойно перенести несчастный бигуди у себя в волосах.

— Иво, не дури.

— Иво, угомонись! Надо же посмотреть, как он действует.

— Иво, это не забава! Неужели ты не можешь две минуты не паясничать?

— Иво, никто тебе не поверит, что эта железка так уж дерет волосы...

Когда они взяли меня за плечи, чтобы утихомирить, их тоже ударило током, и они поняли действительную причину моего необузданного возбуждения. Они выдернули штепсель из розетки и положили конец моей пытке. Но безумный смех сотрясал их по меньшей мере так же, как минуту назад меня трясло электричество, и мы долго не могли прийти в себя. Впоследствии всякий раз, как аппарат входил в транс, завивая клиентку, сестра украдкой бросала на меня заговорщицкий взгляд. Однако забавница-машина больше не выкидывала таких штук. Она знала толк в коммерции. Она не хотела отпугнуть страдалниц и делалась почти вкрадчивой, чтобы их соблазнить...

Парикмахерская неизвестно почему считается таким местом, где позволительно сбросить маску. Там делец говорит откровенно. Мнимая недотрога вспоминает свои адюльтеры. Циник становится сентиментальным. Стоит только представить себе другую обстановку, более величественную, так и кажется, что находишься в большой исповедальне, куда каждый, под тем пустым предлогом, что ему надо привести в порядок шевелюру, приходит раскрыть свою душу.

Я был еще слишком молод, когда начинал работать в салоне, чтобы действительно интересоваться тем, что рассказывали эти болтливые незнакомки. Позже, одолеваемый скукой, знакомой каждому, кто занимается ремеслом, к которому не чувствует никакого призвания, я устало пропускал мимо ушей эти отрывочные признания. И тем не менее я узнал там поразительные вещи по части женской психологии. Я убежден, что драматург, которого интересуют душевные движения, характерные и типичные для женщин, много выиграл бы, если бы на время надел белый халат мальчика в парикмахерской. Я думаю, что службы разведки лучше меня осведомлены в этой области и что они давно уже позаботились готовить в шпионских школах веселых пострелов с острым слухом и рассовывать их затем по салонам, посещаемым политиками, точно так же, как они готовят лакеев и официантов, перед которыми люди тоже не боятся показывать себя такими, каковы они на самом деле.

После нескольких лет этой жизни, посвященной волосам, несмотря на ошеломляющую болтовню клиентов, однообразие моей работы снова подавило хорошее расположение духа, которое я проявил, выходя из испытания целлофановыми пакетами. Я перестал забавлять общество, разыгрывая шута в салоне, и принял мрачный вид, свойственный некоторым неуравновешенным подросткам. Меня опять начали дразнить бывшие мальчишеские мечты, не совсем еще утратившие свою прелесть. Шевелюры, на которые я с ожесточением набрасывался, становились безбрежными океанами и зарослями лиан, а женщины в шлемах сушилок безумолку кудахтали, как цесарки, и мне хотелось надавать им пощечин.

— Иво томится, — говорила мать.

— Серьезней становится, не так-то просто сделать-ся мастером, — замечал брат.

— Взрослеет, — ронял отец.

— Ему надо поучиться в профессиональной школе и сдать экзамен на КАП *, — заключала сестра.

* КАП — диплом профессионального парикмахера.

И вот мне пришлось вечерами, три или четыре раза в неделю, ходить на занятия, ненавистные мне до отчаяния. Семья шла на большую жертву, платя за мое обучение, и я был обязан работать серьезно. Но я чувствовал, что углубляюсь в какое-то подземелье, откуда нет выхода, тем более, что я делал успехи и можно было полагать, что у меня есть все данные для того, чтобы стать хорошим парикмахером. Несколько медалей и дипломов, полученных мною на конкурсах, лишь упрочили самые оптимистические предвидения относительно моей будущности. Я еще раз попал в сложный переплет и терял всякий контроль над сцеплением обстоятельств, определявших мою судьбу. В кошмарных снах я видел тысячи голов с растрепанными волосами, которые мне нужно было приводить в порядок всю мою жизнь. Они блестели, как инструментарий в залитой светом операционной.

Наконец сестра заявила, что мне нужно оставить работу в семейной обстановке и наняться в большой салон, чтобы пополнить свои знания и набить руку. Так я поступил в парикмахерскую первого разряда «Ивонн и Фернан» на улице Павийон.



ГЛАВА ПЯТАЯ

Отрочество — глухая сторона. Дороги душевных тревог, харчевни иллюзий, замки тоски и томлений, дворцы миражей, вертепы первой любви...

Спустившись с пологих склонов детства, неприметно вступаешь в этот труднопроходимый край. Для тех, кто живет, не зная катастроф, опорой служит воспита-

ние. Эта рука надежного и опытного водителя, который указывает брод через стремнины и помогает свыкнуться с неизведанным. Для других начинается странствие, полное перипетий и суровых испытаний.

События не дали себе труда постепенными переходами подготовить меня к этим испытаниям, из которых выходишь взрослым. Разорение отца внезапно вышвырнуло меня в одиннадцать лет из детства, и мне пришлось долго блуждать и пробираться по трясине, теряя почву под ногами. В пятнадцать лет, когда я приобщался к парикмахерскому делу в салоне моей сестры, я еще далеко не оставил все это позади.

Тянулись недели и месяцы, отмеченные глубокой скукой, нетерпением, подавленными приступами ярости, приливами отчаяния, вспышками необъяснимого воодушевления. После того как я часами предавался мрачным мыслям, вялый и пасмурный, меня вдруг без всякой видимой причины охватывало безудержное веселье. Потом я снова впадал в уныние и апатию. Меня угнетало, что судьба обошлась со мною суровее, чем со многими подростками моего возраста: ведь несчастья становятся еще невыносимее от сознания, что они прихоти случая и явно несправедливо выпадают на долю одних и минуют других.

Через эти двуликие годы обычно проходят — об этом свидетельствуют интимные дневники — под бременем двух-трех гнетущих идей, неотступных, как наваждение, и, наперекор им, с лучезарной мечтой. Моя лучезарная мечта в то время всецело воплощалась в образе Брюны.

Ученичество в парикмахерской моей сестры имело для меня одно огромное преимущество: оно не лишало меня досуга. Мне не нужно было придумывать удобных предлогов, чтобы вырваться из салона, прервав однообразие работы. Я откладывал мои расчески, мои бигуди и убегал, даже не сняв белого халата. Я только чуть заметно махал рукой сестре, которая, наверное, видела в этом ласковом жесте знак беспечности, но не осуждала меня, вспоминая минуты, когда ей самой хотелось бросить все и удрать.

Иногда я прогуливался без определенной цели. Я шел возле самых стен по затененной кромке тротуара, и мне делалось как-то не по себе, когда между двумя домами на меня падал солнечный луч и тень от моей головы, как шар, катилась по мостовой. Я напевал какой-нибудь меланхоличный мотив. Я с наслаждением вдыхал дым крепкой сигареты «Голуаз». Я чувствовал себя одновременно и невидимым и уязвимым, как мишень.

Я ничего не ждал от этих прогулок. Для решающих встреч нужно слишком сложное стечение обстоятельств, чтобы к ним могло привести простое фланерство. В лучшем случае, из переулка показывался на велосипеде, собранном с грехом пополам из всякого хлама, какой-нибудь приятель с лицом, перекосившимся от усилий, которых от него требовало намерение затормозить. Мы обменивались уклончивыми фразами. Неказистая машина, на которую он опирался, разговаривая со мной, служила нам отправным пунктом для диалога на тему о чудесных хромированных велосипедах, которыми и мы со временем непременно обзаведемся, не совсем, впрочем, понятно, каким образом. В разговоре изобиловали технические термины, потому что мы читали спортивные журналы и черпали из них сведения о подвигах гонщиков-велосипедистов и машинах, которые приводили их к славе. Я думаю, что нынешние подростки, встретившись и остановившись поболтать на углу улицы, с таким же наслаждением рассуждают о мотоциклах и скаутерах. Но по большей части я только переходил на другую сторону шоссе, чтобы посидеть в бистро, или, вернее, в буфете, который держали пьемонтцы.

Я не пил или пил мало, притом совершенно безобидные напитки: газированную воду, лимонад, слабое, почти даже не горькое пиво. Я приходил туда главным образом ради красочного зрелища, шума, колоритных сценок — чтобы погрузиться на минуту в живой водоворот кипучего мира.

Во всех местах, где можно выпить, в большей или меньшей степени царит атмосфера, создающая какую-

то видимость братства. Чоканье, громогласные тосты, возбуждение людей, разгоряченных алкоголем, — словом, вся обстановка располагает к взаимному доверию. У пьемонтцев было к тому же по-своему уютно, и сквозившие во всем простота и сердечность внушали желание завязать дружбу. Те, кто, встречаясь на улице, только роняли на ходу, едва взглянув друг на друга, «Привет» и «Вонгиогно»*, здесь разговаривали как добрые знакомые и обретали свои имена.

Посетителями бистро были в основном итальянцы, рабочие рафинадного завода. Все как один в кепках, лихо сдвинутых на затылок, сверкая глазами и ослепительно белыми зубами, они без конца спорили о вещах, в которых иногда ровным счетом ничего не смыслили. Они шумно окликали приятелей, изо всех сил хлопали друг друга по плечу и хвастались подвигами, в которые никто не верил, но рассказ о которых подерживал общее приподнятое настроение. Слушая их, можно было вообразить себя участником собрания авантюристов или романтических героев и забыть о тусклой, будничной жизни.

Более тихих посетителей можно было найти на своего рода маленькой эспланаде перед бистро. Они с азартом предавались игре в шары.

Игра эта не столь бессодержательное и лишнее увлекательности занятие, как может показаться на первый взгляд. Она способна загипнотизировать. Она дает простор самому необузданному воображению. Восемь планет кружатся вокруг сказочного солнца в поисках наилучшего места. Вот почему игроки чувствуют, что на них лежит страшная ответственность, и вступают в бесконечные пререкания по поводу каких-нибудь нескольких миллиметров. Ведь в масштабе миров эти расстояния решают вопрос жизни и смерти. И вот летят и сталкиваются сферы в тревожной тишине, разумеется, в тишине неведомых пространств. И только в промежутках между партиями они возвращаются к своим реальным размерам, и слышатся нескончаемые комментарии и яростные проклятия, затрагивающие

* Добрый день.

мадонну, всех святых, различных животных и женщин легкого поведения.

По своей наивности я долго думал, что прихожу в бистро послушать романтические истории итальянских рабочих и погрузиться в созерцание планетных систем. Потом в одно прекрасное утро я понял, что бываю там только из-за Брюны. Этого рода истины познаются по некоторой меланхолии, тесно связанной с какой-то неясной, но светлой радостью: по восторженному и вместе с тем подавленному настроению, в котором вдруг отдаешь себе отчет. Видно, сердцу любви эти сложные ситуации.

Брюне было лет семнадцать, может быть, восемнадцать. Она была хороша той свежей и живой красотой, которой отличаются римские кинозвезды, вызванные из безвестности неореализмом. Она привлекла бы внимание Витторио де Сика.

Брюна сознавала свою власть. Она разыгрывала женщину-вампира в нашем квартале и безумно этим забавлялась. Она знала — и ей это было приятно, — что среди молодых повес о ней ходили тысячи более или менее невинных легенд, что по ней сохли многие из этих молодцов, что она служила неистощимой темой для разговоров. Ей нравилось подмечать душевное смятение, которое она вызывала у мужчин, и те короткие завистливые и ревнивые взгляды, острые как бритва, которые бросали на нее другие девушки. Она безраздельно царила в бистро, и ради ее прекрасных глаз завсегдатаи побивали рекорды по части выпивки.

В рабочее время, когда посетителей почти не бывало, я разговаривал с Брюной. Она садилась на край стола и слушала меня. Я изощрялся в балагурстве. Я имитировал Уолта Диснея, Микки Маус-мышку, Дональда Дака-утку, Плюто-собаку. Я разглашал забавные сплетни, которые слышал у себя в парикмахерской. Я пускался рассказывать вымышленные истории, приписывая шутки ради самые невероятные похождения людям, которых мы знали, и осыпая их насмешками. Брюна смеялась, а несмышленные мухи стремительно пронеслись через узкие полосы света, которые солнце сквозь щели ставен вонзало, как клинки, в бутылки

разноцветных ликеров. Так между Брюной и мной устанавливалась ничем не омрачаемая близость, которую мы скрепляли порой взаимным поддразниванием и возней, бегая друг за другом вокруг столиков и опрокидывая стулья.

С окончанием работы на заводах Брюна преобразилась. Внимание, которое она оказывала мне одному, теперь делилось, дробилось и равномерно распределялось между всеми клиентами. При этом она ухитрялась сделать так, чтобы каждому казалось, будто именно ему отдается предпочтение. Она лукавила, как завзятая кокетка, и ей без труда удавалось одурачить даже самых недоверчивых. Все были в ее руках. Впрочем, те, кто малость перехватил абсента или розового, выйдя из бистро, долго препирались о том, кому принадлежит сердце Брюны: каждый мог сослаться на какой-нибудь жест, словечко, знак, насчет которого было невозможно обмануться.

— Я тебе говорю, что она обещала выйти за меня замуж.

— Я тебе говорю, что мы с ней скоро уедем.

— Я тебе говорю, что она сжала мне пальцы.

— Я тебе говорю, что она водит тебя за нос, а любит меня.

— Я тебе говорю, что она еще с ума не сошла, чтобы спутаться с таким типом, как ты.

— Я тебе говорю, что Брюна только что...

Я понял, что влюблен в нее, отдав себе отчет в том, как мне больно было видеть ее уловки. Затерянный в сутолоке и подавленный устрашающим оптимизмом клиентов, я ревниво следил за каждым ее шагом и взглядом, прислушивался к фразам, которые она, подавая напитки, бросала то одному, то другому, как бесплатное приложение, ловил улыбки, которые она расточала. «Любит ли она, — думал я, — этого маленького брюнета, мускулистого, подвижного и задорного, который скоро выйдет на ринг, станет чемпионом бокса и уже толкует ей о своих будущих триумфах в Чикаго или в Сиднее? Или этого рослого рыжего парня, чув-

ствительного и благодушного, который во что бы то ни стало хотел повести ее на какой-то шикарный бал, о котором знал только он один и который он расписывал ей, как рай, где она будет царицей? Или другого, с изящными усиками, уверенного в себе, как бирманский принц, который не спускал с нее глаз, ловил ее за шею, когда она проходила мимо, и говорил ей на ухо что-то такое, от чего она покатывалась со смеху? Или этого гиганта, который иногда поднимал ее, без малейшего усилия держал на вытянутых руках и тихо посмеивался, опуская ее на землю? Или бывшего матроса, бесстыдно обнажавшего грудь, украшенную татуировкой, изображавшей крошечный кинжал, казалось вонзившийся ему в сердце, со словами: «Брюна, эту рану, которую ты мне нанесла, ты должна залечить тысячью поцелуев?»»

Рядом с этими мужчинами в расцвете сил, смелыми, сильными, решительными, голосистыми, я чувствовал себя жалким в своем белом халате ученика парикмахера. У меня было такое ощущение, будто я вдруг стал до смешного маленьким, превратился в муху, в козявку, которую Брюна не замечает и которая потонет в стакане гиганта, если матрос не прогонит ее щелчком и не раздавит боксер на своем победоносном бицепсе. Я сделал открытие, что женщины бесконечно сложные и непостижимые существа и что любовь не всегда так проста и легка, как об этом говорится в наивных песенках.

В течение многих лет я влачил бремя одной до уныния безрадостной мысли. Я думал, что я решительно безобразен. Уродливость не была козырем, который помог бы покорить Брюну. Перед зеркалами парикмахерской, когда я оставался там один, я погружался в созерцание своего непривлекательного облика. Я проклинал судьбу, наделившую меня такими чертами. Я завидовал боксеру, матросу, рыжеволосому донжуану, чья наружность мне казалась тогда просто даром providения. Я приходил в отчаяние, пытаюсь придать своему лицу патетическое выражение.

Убеждение, что я на редкость некрасив, сложилось у меня еще в детстве, в школьные годы. Меня прозвали тогда Пастью за толстые губы, за рот до ушей, который я разевал во всю ширь, поглощая сразу по пол-апельсина. Мало-помалу это прозвище отравило мой ум. У меня было чувство, что я не такой, как другие. Взрослым лестно не походить на других, и они стараются отыскать у себя какую-нибудь оригинальную черточку, которая придавала бы им известное своеобразие. Дети, напротив, чувствуют себя отверженными, если отличаются своей внешностью от товарищей. Они страдают от этого. Меня обезображивал не только широкий рот. Девочки намекали также на мои большие уши и крупный нос. Они сочиняли по этому поводу надоедливые «дразнилки», изводя меня так, что мне хотелось их отколотить.

У него большой нос, э-э,
И ослиные уши, э-э,
У него большой нос, э-э,
И ослиные уши, э-э.

Они мололи это неумоимо, как заведенные, и на их лукавых лицах играло злорадство. Вдобавок они смеялись каким-то пронзительным смехом, словно кусали меня своими острыми, как у зверьков, зубками.

Впоследствии я раз навсегда примирился с тем, что я не греческий бог. Я понял, что красивое и некрасивое лицо — не застывшие понятия, что лица не маски и что вопрос здесь не решается точными измерениями.

Одиночество — суровое испытание для подростка. У меня были любящие родители, семья, в которой все обожали друг друга, надежные товарищи, и тем не менее в моей душе оставался мрачный и тайный уголок. Иногда мне хотелось излить кому-нибудь свою глухую, но злую боль, собрать в один сгусток, сжать в комочек мои черные мысли и выбросить все это наружу. Но меня сковывала робость, и я облегчал душу, пережевывая про себя обрывки горького монолога, как жуют травинки, чтобы обмануть жажду...

— Я некрасив... Я глуп... Я глуп, и некрасив, и беден... Моя профессия мне противна... Брюна плюет на меня, и она права, потому что я некрасив, и беден,

и глуп, и робок, и ничего не умею... Мне бы надо быть красивым и богатым... Я обречен на прозябание. Не знаю почему, но это факт, и так мне и надо, я слишком глуп... Ничего из меня не выйдет, я буду стареть не по дням, а по часам, вот и все... Я всегда буду парикмахером, некрасивым и бедным, и неумным, никогда не посмею рта раскрыть, и никто не заглянет мне в глаза и не скажет: «Ив, ты красивый, и я тебя люблю», потому что ведь я безобразен. Я ничего не добьюсь и я даже не знаю, чего хотел бы добиться, меня никто не научил, чего нужно добиваться... Мы живем в какой-то паршивой дыре, а у человека должно быть жилье как жилье, чтобы хотелось поскорее прийти домой, чтобы туда так и тянуло, но в одном Марселе, должно быть, тысячи и тысячи таких, как я, и, значит, нет ни малейшего шанса, что я выйду скорей, чем другие, которые тоже стареют не по дням, а по часам, как машины, которые тронула ржавчина, и все мы так и будем жить в паршивых дырах, и ничего тут не поделаешь, хоть вой... Может быть, мне нужно было лучше учиться, но все равно, дальше начальной школы я бы не пошел, потому что не мог бросить папу, когда он обанкротился... со своими половыми щетками... Папа хотел повеситься или утопиться, но нельзя же было его до этого допустить и нельзя же все-таки вешаться или топиться всем, кто беден и обречен на прозябание... Удача. Говорят, удачу надо ловить, не то она пронесется мимо, как человек, который очень спешит... Но я ее еще ни разу не видел удачу... Она ведь не всем встречается на пути... Да и не все могут пуститься в погоню за удачей, и потом, бывают и лжеудачи и неудачи, мне попадалось немало этих кумушек... Удача — это Брюна. Удачлив тот, кто красив, удачлив тот, кто смеет все сделать и все сказать. Удача — это солнце. Ее знают те, кто свободен, кто пьян от света, кого согревает любовь...

Каждый перетряхивал так свои горести и затаенные обиды. Все в пятнадцать лет бродили по улицам, засунув руки в карманы и спотыкаясь о камни мостовой, одержимые мыслями, которые стучали в виски, как запертые в клетке пискливые цыплята. Все...

А потом, неизвестно толком почему, настроение резко изменялось. Клетку открывали, и опостылевшие цыплята разбежались. По волшебству восхитительной надежды являлись триумфальные видения. И вот я возводил подмости, на которых должны были разграваться сцены счастливого будущего.

— Ничто не мешает попытаться... Это только моя робость, а робость излечимая болезнь... Не может быть, чтобы люди были обречены прозябать всю свою жизнь, чтобы еще в пеленках они были заранее обречены... Мне нужно только избавиться от своей робости, что-нибудь предпринять, не быть шляпой, бараном, волком... Надо стронуться с места... Надо дергать за волосы клиенток, надо дать пощечину Брюне, надо читать стоящие книги, надо развивать мускулы, надо смотреть на вещи прямо, надо ни перед кем не опускать глаза, надо измениться...

После таких размышлений я давал себе клятвенные обещания совершить чудеса храбрости, преодолеть все препятствия — словом, показать себя. Я уже видел, как я с триумфом вхожу в бистро пьемонтцев, расталкивая дюжих парней, ошеломляю любителей игры в шары своей дьявольской ловкостью, затыкаю рот фанфаронам и на глазах у всех целую Брюну. «Наступит день, — думал я, — наступит день, когда все изменится. Я стану видной фигурой. Неважно, кем именно, но видной фигурой. Передо мной распахнутся двери всех баров мира, и в любом из них хорошенькие официантки будут терять голову, едва я войду... Я не буду больше бояться никого и ничего, буду говорить то, что думаю, и вспомню то время, когда я был несчастен...»

Но как только надо было переходить к действиям, моя робость вступала в свои права, и Брюна смеялась для других.

Достаточно простого изменения обстановки, замещения одних привычек другими, чтобы уже через несколько недель, самое большее — месяцев, с изумлением увидеть, как исчезают твои прежние заботы и треволения. Стоило мне, окончив профессиональную шко-

лу и получив диплом парикмахера и бронзовую медаль, поступить на работу в салон «Ивонн и Фернан» на улице Павийон, как Брюна и романтические бредни, навеянные моей влюбленностью, остались далеко позади.

Нужно сказать, что женщины, приходившие сюда холить свою гриву, в высшей степени отличались от соседок, посещавших парикмахерскую сестры: добрую часть клиенток «Ивонн и Фернан» составляли девицы легкого поведения, повсюду вокруг порта подстерегавшие туристов и матросов.

Это были хорошие клиентки. Ведь их профессия требовала, чтобы они заботливо следили за своей внешностью, и в то же время весьма часто ставила их в обстоятельства, при которых страдает прическа. В салоне всегда были две-три такие дамы, подражавшие манерам порядочных женщин, сидевших рядом с ними. Они оставляли царски-щедрые чаевые.

Сдержанные и скромные, если вместе с ними ждала своей очереди мать семейства, разговоривая о детях и дороговизне, они держались куда непринужденнее, когда оставались среди своих. Тысячи инцидентов, неизбежных в их жизни, становились предметом бесконечных рассуждений. В их словах и намеках передо мной раскрывался доселе неведомый, тревожный и тайный мир. Они не делали секрета из своего ремесла, напротив, они говорили о нем, как о профессии, столь же почтенной, как и всякая другая. Подобно портнихам, секретаршам или продавщицам, они сообщали друг другу приемы, уловки, рецепты, добросовестно проверенные опытом. Вначале они производили на меня впечатление женщин, приехавших из далекого города, где господствуют чуждые нам обычаи и обескураживающие правила нравственности.

Они увлекались романами, которые печатаются в журналах, культивирующих душещипательную литературу. Они ставили себя на место героинь, критиковали тот или иной поступок, хвалили славных ребят и ругали негодяев. Они рассказывали друг другу содержание фильмов, подробно описывали и разбирали по косточкам красивых артистов, восхищались их обаяни-

ем и мечтали о том, чтобы один из них когда-нибудь вошел в их жизнь вместе с трансокеанскими пароходами, кругосветными путешествиями, стоянками в субтропиках, райскими островами, изобилием, роскошью.

Они рассказывали истории, в которых угадывалось доброе сердце этих склонных к фатализму и, как ни странно, сентиментальных девиц. Они вспоминали своих покровителей и выразительные штрихи, рисовавшие повадки этих темных личностей. Они потешались над своими клиентами, с удовольствием изображая их ничтожными, жалкими людишками и выставляя в самом смешном свете. Я узнавал, слушая их, как обстоятельства могут превратить самых грозных бюрократов в смешных обезьян, самых нахальных и напористых бизнесменов в хнычащих хлюпиков, самых благородных джентльменов в карманников, и начинал без особых иллюзий смотреть на прочность и ценность внешней респектабельности, которую придают себе иные люди.

— Мой виноторговец, знаешь, тот, который приходит в субботу вечером, представь, вошел в спальню и разревелся. Вытащил фотографию своей дочери и начал с ней разговаривать. Тысячефранковые бумажки по комнате расшвыривал, хотел, чтобы я называла его грязной свиньей...

— Мой старый маркиз, знаешь, тот, который каждый день меняет тросточку — у него их штук семь, по одной на каждый день недели, — приходит всегда с накладной бородой, а я должна его звать Ландрю, мой мальчик, мой дорогой Ландрю. Я ему говорю: чем разыгрывать рождественского деда, вы бы лучше отпустили настоящую бороду, но он не хочет, чтобы у него была седая борода, говорит, это старит. Он бредит, что сжигает женщин пламенем страсти, и говорит, что в конце концов попадет в ад и сам сгорит среди миллионов женщин...

— Мой офицер колониальных войск говорит, что мы лучшие из женщин, что остальные развратничают втихомолку, что у них нет смелости признаться в своем пороке и что, если бы он был у власти, он отвез бы нас в города, где нас бы все уважали, поставил бы на место «порядочных», поселил бы в их домах, а тех пре-

проводил бы сюда, и они делали бы нашу работу. Он говорит, что ни одна из нас не заслуживает такого презрения, какого достойна даже самая почитаемая матрона из высших кругов.

Они высказывали также общие взгляды на человечество и на жизнь. Хотя они охотно афишировали свой пессимизм и цинизм, некоторые из них верили в чудесные вещи: в искупление, верность, справедливость. Тем не менее они были убеждены, что им выпала злая участь, и в один голос жаловались на жизнь, выбросившую их на задворки общества, лишив человеческого достоинства. Но они не всегда соглашались признать, что их падению немало способствовала дурная компания, с которой они в свое время связались, а часто и фантастическая лень.

Когда я возвращался домой из парикмахерской, они уже выходили на работу, и я их встречал на их неизменных постах. Они подмигивали мне и ласково улыбались. В ответ я дружески махал им рукой. Я испытывал при этом какое-то смутное удовлетворение, как бывает всегда, когда флиртуешь с людьми, так или иначе поставленными вне закона. Я очень удивлялся своих товарищей, упоминая об этих подозрительных приятельских отношениях с женщинами, у которых вместо имен и фамилий были лишь клички, выбранные по традиции из бульварных романов: Лола, Рита, Дора, Кармен, Люлю.

Кварталы, где подвизались эти дамы, были не из самых спокойных. Здесь попадались жуткие трущобы, закоулки, внушавшие смутную тревогу, третьеразрядные кабаки, зачастую служившие притонами. Здесь открыто хозяйничали отъявленные негодяи. Днем их можно было видеть за столиками на террасах кафе. У них было пристрастие к необычайно светлым костюмам, широким брюкам, туфлям с острыми, как щучьи головы, носами, тонким усикам, безделью и абсенту. Занятые нескончаемыми партиями в белот, они с коварной небрежностью бросали карты на стол, безуспешно провоцировали партнеров, следили друг за другом с таким подчеркнутым недоверием, как будто все

это было рассчитано на публику. В промежутках между партиями они со знанием дела любовались своими кольцами с огромными бриллиантами, поворачивая их так, чтобы камни играли на солнце. Иногда эти субъекты останавливали свое внимание на толпе прохожих. Когда их взгляд падал на вас, вам делалось как-то не по себе. Я предпочитал их особенно не разглядывать.

В том же районе находился и штаб фашистской банды Дорио. Дом, в котором он помещался, привлекал внимание расклеенными на стенах хулиганскими плакатами и прокламациями. Вокруг него царила какая-то лихорадочная суеда. Хлопали двери, скрипя тормозами, подъезжали машины, слышались короткие приказания, предвещавшие насилия и драмы. Молодчики в шляпах с показной непринужденностью прохаживались взад и вперед по тротуарам. Они держались всегда по двое, по трое, никогда не уступали дорогу встречным и отпускали наглые замечания по адресу женщин. У них оттопыривались карманы, и время от времени они вдруг оборачивались, как будто опасались быть застигнутыми врасплох врагом. О них писали в газетах.

Перед парикмахерской, где я подбивал волосы грешниц, находился один из баров, прилежно посещаемых бандой зловещих игроков в белот. Я завтракал там сандвичами с итальянской колбасой, запивая их пивом.

В углу зала обычно сидел молчаливый и апатичный сутенер, к которому все обращались почтительно. Он был толстый и жирный. Его возраст было невозможно определить. Он походил на огромную жабу, окруженную блюдечками, чашками, пепельницами, стаканами, и напоминал тех омерзительных божков, которым поклоняются в странах дальнего востока и статуэтки которых, выставленные в витринах антикварных магазинов, производят такое отталкивающее впечатление.

Окутанный дымом своих сигар, он изъяснялся медлительными жестами, которые каждый старался расшифровать как можно скорее, чтобы избавить его от труда уточнить свою мысль; неукоснительно, по первому знаку, как выполняют желание тирана, ему пода-

вали вина, приносили телефон, давали сведения, которые ему были нужны. Молодые сутенеры ходили к нему на поклон. Женщины расточали ему покорные улыбки.

Этот тип внушал мне ужас и отвращение. Я распознал в нем воплощенное преступление, неприкрытое преступление в его подлинном кошмарном и гнусном облики.

Там попадались и люди, правда, сбившиеся с пути и замешанные в мошеннических махинациях, но тем не менее симпатичные и не лишённые известного прямодушия. С двумя из них я особенно сдружился. В юности охотно находят таких друзей в чарующем мире авантюристов с большой дороги, которых прославляет кино. Они оставляли в тени истинный источник своих доходов. Мы без конца разговаривали перед баром, пока я дожевывал свой хлеб с колбасой.

Меня часто подмывало расспросить их об их жизни и сказать им, что от них немного требуется, чтобы они стали действительно славными, честными ребятами. Но у них была манера смеяться над честностью, и это принуждало меня к осторожной сдержанности. (Они тоже шептались с гнусной жабой и изъясняли почтение этой личности.)

Мы говорили, например, о ковбоях. Они, как и я, восхищались ими, рукоплескали их подвигам, смеялись от удовольствия, вспоминая главные кадры, где друзьям правосудия, наконец, удавалось изрешетить пулями подлых предателей. Я думал о том, что эти предатели были не лишены сходства с жирным сутенером, и меня поражали явные противоречия, в которые впадали мои приятели. Правда, они превозносили также ловких гангстеров, джентльменов-грабителей, всякого рода отверженных законом и горевали, когда за несколько минут до окончания фильма те попадали в лапы сыщиков и шерифов. Иногда они даже покидали зал, как только для этих сомнительных героев события начинали принимать дурной оборот.

Этот бар, в котором невинность была представлена разве только двумя правонарушителями, готовыми отступить от своих последних моральных устоев, да по-

рядком оторопевшим парикмахером, не имел ничего общего с кафе пьемонтцев, где давали себя знать душевная чистота и человеческая солидарность. Когда я был там один, я продолжал, неторопливо пережевывая свои сандвичи, внутренние монологи, уже не имеющие отношения к любовным мукам. Добро и зло, рыцари с опущенными забралами и султанами на шлемах, окутанные туманом, неуловимые и изменчивые, в тяжелых доспехах бились на турнирах, и часто я не мог с уверенностью сказать, где добро и где зло.

— Толстая жаба — сволочь. Этот тип — убийца. Такие вещи чувствуются. Он кого-то убил неизвестно за что. Вот почему его боятся другие. Человек, который кого-то убил, страшен другим... Даже оба мои товарища боятся его... В один прекрасный день он опять кого-нибудь убьет... Поднимется со своей скамейки и убьет из маленького дамского револьвера, который почти не производит шума, и исчезнет, и всем покажется, что это было только привидение, какой-то гнусный призрак, вот и все... Будь я на месте моих двух приятелей, я бы дал ему коленкой под зад, я бы выпустил из него потроха, прежде чем он принялся убивать, кого ему вздумается... На их месте я бы по-ковбойски разделался с этим боровом, у которого брюхо трясется, как желе. Если бы папа был молодым и сильным, он бы живо очистил этот угол... Если бы я был постарше, я бы подошел к этому борову и сказал бы ему в лицо, что я о нем думаю, и выволок бы его на улицу, как мешок с рухлядью... Нельзя оставлять в покое тех, кто замышляет убийство, кто вот-вот вытащит из кармана револьвер... Нельзя в мечтах творить правосудие на Дальнем Западе, а на деле пресмыкаться перед жабами... Нельзя плясать под дудку банды прохвостов, которые готовят преступления... Надо сказать свое слово и вывести их на чистую воду... Этот толстый мерзавец наверняка распорядится как ему угодно, именно как ему угодно, десятками парней и баб, которые лучше его, сильнее, моложе и которые дрожат от удовольствия, когда справедливые ковбои громят салун * под-

* С а л у н — ковбойская харчевня.

лица, но забывают все это перед такой мразью... На свете должна быть пропасть людей вроде него, которые более или менее открыто тиранят других... Среди них, можно не сомневаться, есть и такие, у которых красивые и добрые лица и которые подают милостыню нищим, носят элегантные черные шляпы, действительно элегантные шляпы в английском вкусе, и превозносятся в газетах как благодетели человечества. Нередко у них маленькие дети, которых они ласкают, почтенные сидины, библии, дома, утопающие в цветах, и тем не менее они такие же, как эта жаба, преступные твари, подлецы, кровопийцы... «Кольцо, кольцо, ко мне». Кольцо — это добро. Каждый говорит, что оно у него в руке, что он мог бы его показать, но посмотришь — ничуть не бывало. Это маленькое колечко трудно сохранить, трудно найти, и надо, чтобы разжались тысячи рук, чтобы оно сверкнуло золотой искоркой...

Иногда я пытался тайно восстановить моих приятелей против толстобрюхого. Я играл на их самолюбии.

— Брось, — только и отвечали они. — Брось ты свою канитель. Не думай, что это так просто и что от одной драки все на свете пойдет как по маслу...

Однажды после обеда я сидел у окна парикмахерской, предаваясь мечтам в ожидании клиентки. Я смотрел на улицу, на дома, глухие и мертвые, как декорации, на бар с распахнутой дверью, напоминавший какое-то логово, на редких прохожих, изнывавших от невыносимой марсельской жары. У меня было необычайно ясное ощущение, что ничего не может произойти на этой улице, казалось придавленной зноем, что, быть может, никогда на ней ничего не произойдет, что это пейзаж из давнего, забытого кошмара.

И вдруг в баре поднялась суматоха. С серебристым звоном разбилось стекло в одном из окон, и из него, откинув расшитую бисером штору, выскочил человек и бросился бежать. Вслед за ним из дверей выбежал другой. Он не спеша порылся в кармане, вытащил револьвер, прицелился. Раздался выстрел, и в тот же миг убегавший перекувырнулся и рухнул на землю. Вто-

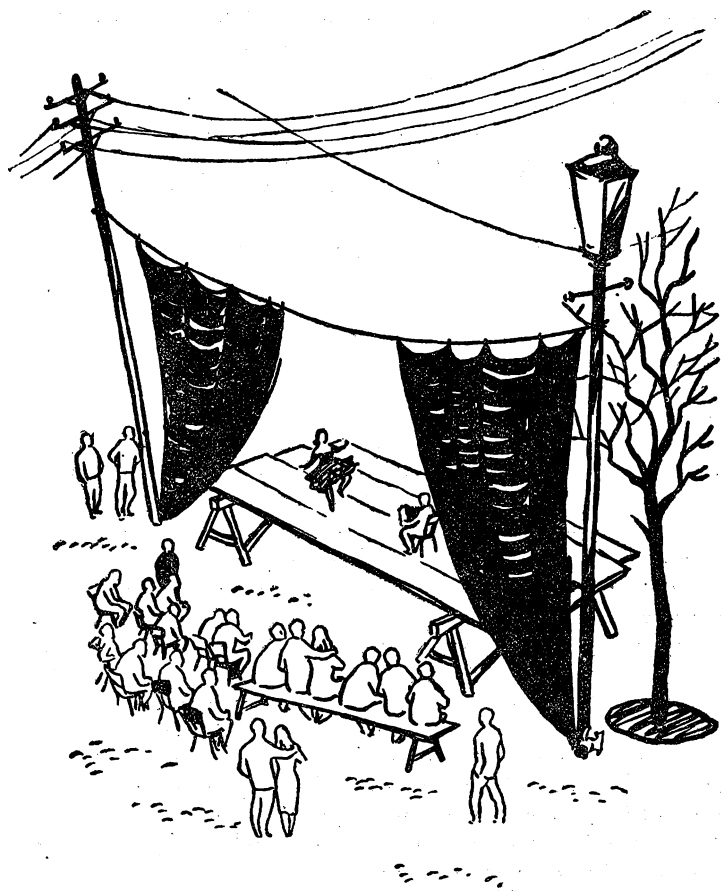
рой подошел, разрядил револьвер в простертое тело, которое несколько раз конвульсивно вздрогнуло, и ударами ноги по голове прикончил умирающего. Он огляделся вокруг, как боксер-победитель, потом проворно ушел удивительно легкой, упругой походкой.

Все произошло, как на сцене, в атмосфере ирреального, совершающегося у вас на глазах. Выстрелы сами по себе не произвели на меня особого впечатления, прозвучав не громче, чем хлопанье пистонов, которыми ребятишки палят из игрушечных пистолетов. Однако на мостовой лежало безжизненное тело, и из него била кровь, растекаясь тонкими струйками.

Гудок полицейской машины разорвал тишину, в которой случившееся казалось каким-то наваждением. Полицейские засуетились, прикрыли труп грязновато-серым одеялом, потом, когда он был сфотографирован, не очень-то бережно унесли. Они опросили соседей, но не добились никаких результатов: те, кто присутствовал при трагической сцене, наверное, были, как и я, поражены ее угрожающим характером. Язык их не слушался, они были не в силах вымолвить слова, точно онемели.

Я был страшно взволнован этим происшествием. Впервые я видел смерть за делом и смог почувствовать ее беспредельную власть. Приукрашенная несколько театральной обстановкой, она поражала воображение.

Мне пришло в голову, что субъекты, вечно играющие в белот, быть может, даже не прервали партии и что гнусная жаба, должно быть, ухмыльнулась, смакуя зрелище из своего окна. С той поры этот бар потерял для меня всякую привлекательность. Он был отныне лишь вертепом, откуда вышла смерть.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мне исполнилось семнадцать лет... Сквозь монотонное течение дней, сквозь непрерывный шелест пестрых событий, из которых соткана жизнь, каждый уже мог различить грозный гул, предвещавший войну.

Подобно опустошительным эпидемиям, подобно циклонам, войны заранее дают знать о себе предзна-

менованиями, которые никогда не обманывают. Гнетущее сознание роковой неизбежности постепенно становится всеобщим. Умами овладевает чувство беззащитности перед нависшей катастрофой, и наступает кошмар тягостного ожидания. Все подавлены, словно носят в себе зародыш болезни и знают, что она будет тяжелой. Вступают в сделку с неотвратимым. Готовятся к драме.

Война походила на театральную пьесу, представления которой начнутся в ближайшие дни: шла генеральная репетиция. Мужчины были мобилизованы. Странное нервное возбуждение, казалось, охватило людей, плохо мирившихся с унылой покорностью судьбе пред лицом завтрашней бойни. Через город со злозвучающим шумом тянулись нескончаемые обозы: сероватые грузовики, молчаливые солдаты, зачехленные орудия, походные кухни, распространявшие запах какого-то допотопного варева. Эти обозы, двигавшиеся неизвестно куда, оставляли за собой, как плуг — борозду, мрачное оцепенение.

Мой брат ушел в армию. Я понимал, что надвигаются великие потрясения, и говорил себе, что и меня, как других, затянет в водоворот. Будущее уже не представлялось мне дорогой, убегавшей вдаль по равнине, где путник не встретит ничего неожиданного. Каждый должен был свыкнуться с атмосферой неуверенности, помнить, что в любой день может возникнуть абсолютно непредвиденная ситуация. Я попрежнему причесывал дам, но знал, что малейший каприз судьбы способен в мгновение ока бросить меня в авантюру с неисчислимыми последствиями.

Повествуя о жесточайших бедствиях человечества, история не упускает случая подчеркнуть некоторые парадоксы, так что общее умонастроение масс в иные моменты может показаться совершенно нелогичным. Дело в том, что человеческое стремление к радости так же сильно и так же неизменно находит себе выход, как пар, что приподнимает крышку кастрюли и с шумом вырывается из нее. Отсрочка, которую принес Мюнхен, как бы открыла своего рода клапан. Мир был, конечно, вулканом, готовым снова разгневаться; тем не

мнее на этом вулкане начали танцевать, едва наступила минута затишья. Все обратили взоры к веселым кудесникам, чье волшебство рассеивало тоску.

Я до безумия увлекался кино. Не думаю, однако, чтоб эта страсть завладела мною тиранически, как могут завладеть человеком демон игры или наркотики. Кино открывало мне доступ во вселенную, где царствовала надежда, где фантазия держала героев в состоянии заразной эйфории. Хорошо было после фильма идти по улицам, заполненным ночью, с проворством ковбоя, с окрыленностью Фреда Астера.

Так как безденежье всегда было бичом нашей семьи, мне приходилось экономить на транспорте, чтобы к концу недели собрать деньги на билет в «Стар». Я знал наверное, что увижу там музыкальный фильм, вестерн* или дублированную американскую комедию. Но чтобы я мог аплодировать виртуозности моих кумиров, мне нужно было всю неделю по утрам бежать рысцой по улице Павийон вдоль трамвайных рельсов. От этого теперь у меня хорошее дыхание и крепкие ноги. А сознание, что я должен заслужить таким образом еженедельное зрелище, придавало фильмам в моих глазах особую цену.

Наслаиваясь одна на другую, истории, увлекавшие меня в то время, в конце концов утратили свои подробности. Скопляющиеся воспоминания похожи на дождь. Когда он прошел, невозможно найти в неприкосновенности каждую каплю. Вспоминая об этих фильмах, я вижу перед собой теперь только рослого всадника с квадратной челюстью, который, соскочив с лошади, врывается в салун и начинает там все громить, джазмена из Гарлема, бросающего в небо вопль трубы, ошеломляющего танцора-чечеточника во фраке и цилиндре, жонглирующего тростью посреди залитой светом площадки, а потом с царственной улыбкой прижимающего к сердцу сияющую блондинку в узком атласном платье...

Я мечтал тогда быть Фредом Астером. Я мысленно надевал его фрак, как волшебное одеяние, я ловким

* Вестерн — американский ковбойский фильм.

щелчком раскрывал шапокляк, хватал тросточку и опля! — в дорогу. Танцуя и делая пируэты, я мчался вдоль трамвайных рельсов. Я отдавал общий поклон. Отскакивая в сторону около остановки, я расшаркивался перед публикой. Моей тростью была штанга троллейбуса, и эта трость похищала из проводов электричество, благодаря чему я прыгал на высоту балконов. Мне бросали цветы. Я приходил, наконец, в парикмахерскую, где десять дивных блондинок расточали мне знаки несравненной любви. Сушилки начинали реветь, как обезумевшие трубы. Я бросал шляпу, и она улетала в окно, как птица: символ грубой шутки, жизнерадостности, бегства от тусклой обыденщины.

Но не всегда мое воображение было столь послушным. Подчас я упорно оставался Ивом Ливи, мальчиком в парикмахерской, а Фред Астер со своими трюками преуспевал в недостижимом городе. Я буду актером. Я буду сниматься в кино. Нужно только, чтобы чуточку повезло. Достаточно найти и удивить какого-нибудь типа с сигарой в зубах, от которого все зависит. У всех больших актеров, как и у меня, была какая-нибудь незавидная работенка. Все актеры были мальчишками, домогавшимися неправдоподобного счастья и верившими, что их судьба — перевоплощения. Один, водопроводчик, чинит канализационные трубы в театре, и ему говорят: «Молодой человек, у вас такая наружность, что вы можете стать актером». Другого встречает в лифте режиссер, третий продает парфюмерные изделия, звонит у каждой двери, напропалую расхваливает свой товар, и вот одна кинозвезда говорит ему: «Мой мальчик, вам нужно взяться за дело».

По улице Павийон проезжали всякого рода путешественники, повидимому важные персоны, с тысячью предосторожностей ставившие свои машины у подъездов. Кто-нибудь из них вполне мог приглядеться ко мне, открыть во мне благодаря внезапному озарению бог весть какие, явные только для него, многообещающие задатки и увлечь меня за собою в мир кино. Вооруженный на этот раз логической нитью, непрочность которой я старался скрыть от себя, я снова обретал танцующую тень Фреда Астера. Но я всегда разочаро-

нывал себя убогим рассуждением, которое, однако, содержит в зародыше сущность проблемы судьбы.

Все в моем возрасте думают, что будут актерами, и все горячо на это надеются, потому что думают также, что если этого сильно желать, легче добиться своего... И все так же, как я, думают, что тысячи, быть может, даже миллионы людей мечтают об этом и что только трое-четверо из них действительно станут актерами... Все отчаиваются... И все надеются, потому что понимают, что тех, кто достиг своей цели, в иные минуты охватывал страх при мысли, что они осмеливаются рассчитывать на успех при такой конкуренции. Все думают о лотерее и о том, что пока колесо вертится, каждый сохраняет шансы на выигрыш, но как только оно остановилось, все шансы ускользают из рук тех, кто проигрывает, и стекаются к кому-нибудь одному, и все обстоит так, как если бы удача этого одного и проигрыш остальных никогда не стояли под вопросом, а были predeterminedены, но об этом просто никто не знал, вот и все. Так все солдаты, когда идут в атаку, знают, что неизбежно будут убитые, и каждый думает, что у него есть шансы уцелеть, и даже те, кто остается расprostертым на земле, верили, что их минует смерть, но раз человек умер, какой толк в том, что он думал, что у него есть шансы остаться в живых? Я не буду актером. Таких, как я, слишком много. Гораздо больше, чем может понадобиться молодых людей, отплясывающих чечетку во фраке или перевортывающих вверх дном салуны. И потом папа говорит, вот-вот начнется война, папа это знает, он давно это знает, и удаче будет на нас наплевать, пока нас не пересчитают в атаках, как в детских считалках, чтобы узнать, кто останется, кто выйдет из игры, и Фред Астер во фраке, пожалуй, не рассмешит солдат.

Фред Астер исчезал. Со мной оставались лишь черные мысли. Огни кино гасли, и я думал: я буду кем-нибудь, все равно кем, я постараюсь быть не очень несчастным, таких, как я, много, не надо унывать. И я принимался насвистывать песенку Шарля Трене.

Во время паузы 1938 года, когда в последний раз люди мирно отдыхали на побережье, песенки Шарля

Трене были у всех на устах. Их забавные, немножко вздорные слова, их веселые и нежные мелодии, заминавшиеся помимо вашей воли, были пузырьками кислорода в предгрозовой духоте. Вы напевали мотив и испытывали необычайно явственное ощущение, что становитесь моложе. Застоявшаяся кровь начинала легко струиться в жилах. Руки превращались в крылья. Слова, как пестрые бабочки, шальным роем без конца порхали у вас в голове, задевая и сердце. Больше не было и речи ни о заботах, ни о черных мыслях.

Я ходил слушать пластинки Шарля Трене в один зал, где можно было вдоволь наслаждаться ими за несколько франков. Посетители размещались в маленьких кабинках, и там в их распоряжении был своего рода телефон. Кто-то необыкновенно счастливый на другом конце провода делился с вами своей радостью; говорил о солнце, о безумной страсти, о капризном ветре, ласточках и беспечности веселого бродяги. То был ваш всегдашний друг. Поэт в шляпе, сдвинутой на затылок наподобие ореола...

Каждую субботу на площадке для игры в шары возле «Пьемонтцев», неподалеку от нашего дома, давалось представление на открытом воздухе. Могли сколько угодно циркулировать дурные известия и на каждого сыпаться суровые удары судьбы, бьющая через край средиземноморская жизнерадостность должна была найти свое выражение. У людей была потребность смеяться и аплодировать, собираться на своего рода праздник, хотя бы и урывками между рыданиями или сетованиями. Есть какое-то благочестие в отношении простых людей к субботнему вечеру, святому Субботнему Вечеру трудящихся: неделя закончена, и завтра воскресенье, наступает короткий просвет в будничной усталости, можно дать себе роздых и весело провести время.

Это не были ни великолепные парадные спектакли, ни даже тщательно подготовленные артистические вечера, но на них, как огромная скатерть, разостланная на сдвинутых столах, все покрывала наивная искрен-

ность. Искренность — хороший флюид для сердец, она зажигает их, как электрические лампочки, красные лампочки, которые начинают лучиться, мигать, обмениваться сигналами, понятными только тому, кто владеет их братским кодом.

Сцену делали из козел и толстых досок, которые в будни служили каменщикам лесами. Когда артисты побойчее, не щадя себя, показывали свое искусство, при каждом их движении над подмостками поднималось облачко алебастровой пыли, как волшебный туман, как те фумаролы, что вырываются из земли там, где ступают легкие ножки фей. Мешки и брезентовые покрывки заменяли кулисы, а угол кафе отводился под артистическую уборную.

Зрители как попало рассаживались на сдвинутых вплотную железных стульях. Они приходили маленькими группами, мужчины в майках, если был теплый летний вечер, женщины в сопровождении ребятишек, которых приходилось удерживать: так им хотелось побегать, покружиться, подобно ночным мотылькам, привлеченным протянутыми между домами гирляндами разноцветных электрических лампочек. Вскоре рекой лилось пиво. Люди с жаром разговаривали друг с другом, едва сдерживая нетерпение. Уже можно было уловить выражение восхищенного внимания, которое запечатлевает на лицах, обращенных к сцене, общее удовольствие видеть и слышать вещи, кажущиеся головокружительно прекрасными. Каждый чувствовал себя связанным со всеми остальными нерасторжимыми узами родства, и для каждого вся планета была этим праздничным сборищем, залитым светом, островком, наконец, очищенным от убожества и невзгод, звездой, уносящей друзей в странствие по мировым просторам.

Все актеры, выступавшие на этих импровизированных вечерах, были любителями. Один пел арию из оперетты, другой потешал галерку, подвизаясь в бурлескно-комическом жанре, третий исторгал слезы, повествуя душераздирающие истории, какой-то толстяк рассказывал анекдоты, блондинка, подбоченившись, изливала свои любовные муки, мнимая испанка щелкала кастаньетами, клоуны кривлялись, более или

менее сознательные подражатели копировали Мориса Шевалье, или Жозефину Бекер, или Мистенгетт, или даже Шарля Трене. Вначале все они лишь чувствовали потребность быть в центре внимания и публично выражать душевную тревогу, порыв радости, скорбь. Сперва они поднимались со своего места за свадебным столом — спеть что-нибудь или рассказать в лицах смешную историю. Опыненные криками «браво», они затем взбирались на эти шаткие подмости при шумном одобрении добродушной публики, которую было нетрудно подкупить. Успех, выпадавший им на долю, внушал им мысль, что они одарены тем или иным талантом, и поддерживал в них неумеренные надежды. Они верили, что когда-нибудь станут недосыгаемыми для этих жалких изъявлений восторга и восхищения. В их распоряжении будут раззолоченные залы и настоящие прожекторы, на их концерты станут съезжаться господа во фраках и дамы в вечерних платьях, усыпанных драгоценностями, вокруг них будет тесниться толпа журналистов. Они совершат турне по столицам, перенимая манеры вельмож и принцесс. Они проедут и по этим местам, говоря себе: вот здесь, здесь я понял свое призвание, здесь я поклялся добиться успеха. Они украдкой снова придут сюда, сдерживая странный трепет, словно прижимая к груди диковинную тропическую птицу, они снова придут сюда, к этим подмосткам, подавляя сладостное волнение... Если слава слишком медлила их обласкать, если они застревали в этих эфемерных мюзик-холлах, они впадали в горькую мизантропию. Но это не мешало им попрежнему исполнять свои песенки и монологи...

Я не был прилежным посетителем этих представлений. Мастерство Фреда Астера, миловидность его белокурых партнерш, талант Шарля Трене приучили меня к лучшему. Мне было невыносимо видеть, какое огромное расстояние отделяет Шевалье от его местных подражателей. Я был слишком молод, чтобы ценить по достоинству добросовестность, чтобы признавать, что подлинная искренность порою столь же восхитительна, как и профессиональное умение. Сидя на подоконнике и покуривая сигарету, я издалека — и свысока — сле-

дли за представлением, высмеивая несуразности и промахи, пародируя потуги на искусные эффекты. Приезжая в отпуск, мой брат отлично сбивал с меня спесь.

— Попробуй выступить хотя бы так, Ив, попробуй хотя бы выйти на сцену, тогда и говори... А пока что заткнись!

Брат был прав. Легче всего было судить, критиковать, насмехаться, привередничать, разыгрывать знатока и тонкого ценителя, говорить то да се. Легче всего одним презрительным словечком смести то, в чем для другого подчас весь смысл жизни. Вещь, или номер, или исполнение могут нравиться или не нравиться, вызывать возражения или пожелания улучшений. Но никто не вправе относиться к ним с пренебрежением, особенно когда люди вкладывают в них всю душу. Надо прежде всего попытаться понять, присмотреться поближе, проявить участие, а не занимать удобную позицию стороннего наблюдателя говоря: это плохо, глупо, нудно — и тем ограничиться.

Организатор этих народных празднеств носил прозвище Леденец. Он был обязан им мелкому, не очень процветающему промыслу, которым он занимался: изготовлению леденцов и всяких прочих сладостей, сбывавшихся на рынках и ярмарках.

Это был комедийный персонаж, настоящий южанин: смуглый, как грек, неистощимый говорун, объяснявшийся колоритным языком и сопровождавший чуть ли не каждое слово выразительными жестами, оптимист до мозга костей. Все зубы у него были золотые, и фразы с присвистом вылетали из его рта, похожего на полную сокровищ пещеру Али Бабы. Леденец был видной фигурой. Его репутация зиждилась как на его подлинных подвигах, так и на легендах, непрестанно обраставших все новыми подробностями в устах тех, кто их с восхищением передавал. К тому же он и сам был причастен к распространению всех этих сказок, любя приукрасить истину, — не столько из тщеславия, сколько в угоду своему красноречию. Если он расточал себе похвалы, если он приписывал себе еще более значительную по своим последствиям деятельность, чем

та, которой он действительно занимался, то это потому, что легче повествовать о перипетиях важной персоны, чем разглагольствовать о скромном торговце сластями. Благодаря постоянному шуму вокруг его особы Леденец мог претендовать на бесспорную популярность в нашем квартале. Им гордились. Ему были признательны за ту артистическую атмосферу, которую он умел создавать с помощью козел, брезентовых покрышек и любителей. Он пользовался общей симпатией.

Если Леденцу и приходилось проводить много времени за изготовлением и продажей заурядных кондитерских изделий, то жил он только для своих представлений. Организатор, режиссер, импрессарио, администратор, советчик по всем вопросам, он не жалел себя и был душой этих вечеров. Он развил в себе задатки сочинителя и исполнителя песен и неизменно пожинал успех у публики, перекладывая свои собственные слова на популярные мотивы и создавая таким образом своего рода пародии-буффонады, в которых выводились жители квартала или местные власти и которые черпали свое содержание в злободневных событиях и марсельских сплетнях. Случалось иногда, что герой дня, затронутый в такой буффонаде, присутствовал на представлении, и тогда Леденец с напыщенным видом указывал на него пальцем, возвышая голос и раскати-сто произнося «р». Зритель, избранный таким образом мишенью насмешек, вначале сконфуженный, под конец смеялся громче всех, потому что остроумие Леденца всегда было беззлобным и похождения, в которые он вас впутывал, часто отличались полной несообразностью.

Я был близок с Леденцом. Иногда я помогал ему в изготовлении его цветных пряников. Не веря дословно всему, что он мне плел, и не давая сверх меры вскружить себе голову обстоятельными рассказами о его мастерски осуществленных блестящих замыслах, я тем не менее слушал его с какой-то жадностью.

— Ну, малыш, вчера я опять чорт-те что натворил! Вот это был номер! Они у меня покатывались от хохота, теперь всю неделю не успокоятся, а хлопали так, что руки покраснели. Слушай, если бы я только захотел, если бы я бросил возиться с конфетами и пустил-

си во все тяжкие, я бы поступил в «Алькасар»*, — да, да, в «Алькасар», на меньшее я не согласен, — и я бы, братец ты мой, в два счета заработал бы миллионы... Толкуй сколько влезет про своего Фреда Астера, но хотел бы я посмотреть, как он будет выглядеть перед нашей публикой в своих лакированных туфлях и со своей озорной улыбочкой, хотел бы я посмотреть, как он заставит людей подышать со смеху, а я вот заставляю. В «Алькасаре» меня готовы принять в любую минуту, меня бы там просто озолотили, я тебе говорю... Даже в Париже, можешь мне поверить, меня бы носили на руках, потому что в Париже, к твоему сведению, зрителю не так трудно угодить, как здесь, ведь в «Алькасаре» самая разборчивая публика в мире...

Он ликовал, размешивая свои сладкие смеси. Его грудь вздымалась, а на лице было так же легко прочесть удовлетворение, как на афише название пьесы. Он уже видел себя увековеченным, он рисовал в своем воображении носящие его имя скверы, на которых играет музыка, он таил в себе одном все великолепие такого сквера с платанами, щебечущими детишками, няньками и славным духовым оркестром, расположившимся за фигурной решеткой, перед его, Леденца, бюстом — памятником «Великому Марсельцу»...

Что всего более поражало и озадачивало в повествовании об этих головокружительных успехах, так это та простота, та легкость, с которой все проходило с самого начала до венчающих дело аплодисментов. Человек выучивал две-три песенки. Повторял их разок под аккомпанемент пианино. Взбирался на четыре доски, заменявшие подмостки, и пел как можно громче перед завсегдатаями «Пьемонтцев», распивающими пиво в субботний вечер. Кланялся и пожимал крики «браво». Наконец получал пятьдесят франков... Повторяя эту операцию, можно было составить себе имя и в конечном счете заработать больше, чем заработаешь своим нелегким ремеслом. Все это, конечно, было несерьезно, но получить пятьдесят франков, не работая,

* «А л ь к а с а р» — концертный зал в Марселе.

казалось занятым. Из-за этой бумажки в пятьдесят франков, вручением которой завершалось предприятие, я и доверился Леденцу.

— Идет, Ив. Ты подыщешь себе три-четыре песенки, которые тебе нравятся, которые ты чувствуешь так, как будто ты их сам сочинил. Что-нибудь веселое, — ты молодой, и тебе нужно что-нибудь веселое. Ты повторишь их с пианисткой. Это не так уж трудно. Идет, Ив, договорились, я очень рад, что ты берешь с меня пример, и если дело пойдет, я тебя заставлю работать, и твой Фред Астер, которым ты прожужжал мне уши, подавится от зависти, если когда-нибудь здесь побывает.

Я не поддался бредовым надеждам, которые внушал мне Леденец. Но пятьдесят франков сулили мне обилие сигарет. И эти деньги было так легко заработать...

Как только я принял решение выступить, в меня вселилось то блаженное спокойствие, которое спускается на людей после заключения выгодных сделок. Выбрать песенки, разумеется из репертуара Шарля Трене, было несложно. Многие я уже знал и сотни раз слышал в кабинах зала звукозаписи. Я так часто напевал их, что мелодии врезались мне в память. Моя память стала своего рода крохотным залом звукозаписи. Выйти на сцену? Для этого достаточно было выступить на шаг вперед, и многие это делали, не выказывая смущения или растерянности. К тому же публика была всегда готова каждого наградить криками «браво». Перед этими людьми можно было держаться совсем свободно, петь, как напевают бреясь, только немножко громче. Да и пианино помогало.

Пианистка была уважаемая дама в очках, напускавшая на себя строгость. Она приняла меня со старомодной вежливостью, над которой охотно смеются, но которая тем не менее внушает почтение. Она не сделала никаких замечаний по поводу моего выбора песен, села на свой табурет и сказала: «Извольте, сударь», как будто речь шла о самом простом, в высшей степени обыденном деле, например о том, чтобы дать сдачи или объяснить, как пройти на такую-то улицу.

Это было ужасно. На третьем такте я уже сбился, растерялся, вышел из строя, погибал, был в отчаянии. Несмотря на все свое терпение и отменное воспитание, добрейшая дама выказала досаду и не смогла удержаться, чтобы не возвести глаза к небу и не вздохнуть. Тем не менее она заставила меня продолжать до конца, и только подчиняясь ее авторитету, я не сбежал стремглав вниз по лестнице, как подстреленная белка.

— Вы не попадаете в такт, вы фальшивите, у вас плохая дикция, вы берете слишком высоко, вы сползаете с ноты. В остальном все хорошо. Я хочу сказать, что вы превосходно знаете слова, а это уже кое-что. Не забывайте, что у господина Леденца нет суфлера.

Должно быть, у меня был жалкий вид, потому что дама оставила свою сдержанность и ободрила меня.

— Не волнуйтесь. Из тех, кто выступает, многие не даровитее вас. Публика неприхотлива. Она требует только искренности и душевности. Нужно научиться выражать то, что чувствуешь сердцем, вот и все. Поупражняйтесь дома. В конце концов вы ведь не профессионал...

Я был наивен, когда думал, что без труда заработаю пятьдесят франков. Вожделенная бумажка стремительно уносилась за пределы досягаемости. Но меня удручало не только это. Станным образом переменялась вся ситуация: то, что представлялось самой простой на свете, детски легкой вещью, вдруг оказалось невозможно осуществить. Я был в состоянии юнца, который не умеет плавать, но, видя, с какой легкостью держатся на воде пловцы, ныряет, барахтается и с безграничным изумлением чувствует, что идет ко дну.

Я снова пошел в зал звукозаписи и прослушал свои любимые песенки из репертуара Трене, те самые, которые так исковеркал, терзая слух старой дамы. И снова я испытал впечатление бесконечной простоты, естественности и легкости. Я представлял себе Шарля Трене со смеющимися глазами, в шляпе, сдвинутой на ухо, счастливец, поющим без всяких усилий, как люди говорят, как поют птицы, которые ведь не учатся петь. Я не знал, что касался здесь главной проблемы

исполнения: добиться трудом, опытом впечатления полной легкости, чтобы публике казалось, что каждый может сделать то же самое, стоит ему только захотеть. Я не знал еще, что этот идеал достигается лишь годами исканий, работы, ученичества, неудач, интуитивных постижений, находок. Я не знал, что затрагиваю здесь парадокс о певце, а значит, и парадокс об актере.

Задача, которую я взял на себя; показалась мне такой трудной, что я решил от нее отказаться. Но Леденец не хотел и слышать об этом.

— Все вы такие. У каждого из вас здоровая глотка, вам обеспечен потрясающий успех, а вы дрейфите, как девочки на экзамене. Ты можешь петь, все могут петь, даже заики, больше того, даже немые... У тебя только не хватает духа посмотреть в лицо публике, тебе страшно выйти на сцену и знать, что ты виден всем как на ладони, а тут еще по тебе шарят огни, и вот сейчас пианистка ударит по клавишам и надо будет петь, не думая больше обо всех этих людях, которые только о тебе и думают, так что ты даже чувствуешь это, как будто их мысли на тебя давят... Ты трус, а я бы никогда этого про тебя не сказал. Я с тобой говорю, как с другом, и для твоего же блага, я не собираюсь тебе читать мораль и не хочу тебя обижать, но только что же из тебя выйдет в жизни, если ты боишься ста человек, которым, заметь, хочется тебе аплодировать еще до того, как ты начал... Брось, Ив, ты у меня, как и все, зарабатываешь свои пятьдесят франков, я иду к типографу договориться насчет афиш, а чтобы над тобой не смеялись приятели, как это частенько бывает, ты для начала выступишь в другом квартале, видишь, как я с тобой нянчусь, скажи же мне, какое ты выбрал имя, чтобы я мог заказать афиши.

Я сказал: Ив Монтан. Это имя само пришло мне в голову, как отзвук голоса моей матери, когда она звала меня обедать, крича из окна по-итальянски:

— Jvo, monta! Jvo, monta!

Псевдоним понравился Леденцу, и он ушел распорядиться насчет афиш.

У меня оставалось несколько дней для подготовки. Пытаясь бить на внешний эффект, я изменил свою

программу. Публика, перед которой мне предстояло выступить, любила движение, быстрые темпы и не гнушалась клоунадой. Я решил начать с песенки Трене «Жизнь идет», перейти к подражанию Дональду-утке, затем спеть «Таков уж я» Мориса Шевалье, испытать свои силы в комическом амплуа, исполнив «Барнабе» Фернанделя, и закончить «Бумом» Трене. Это чередование жанров позволяло мне избежать монотонности и должно было вызвать у зрителей если не стихийный восторг, то, по крайней мере, уважение к моему широкому диапазону. Таким образом, вопрос тактики был, на мой взгляд, удовлетворительно решен, и мне нужно было теперь направить свои усилия на улучшение дикции и морально подготовиться победить свою робость. Я принялся твердить четыре песенки, произнося по слогам каждое слово, как бы для того, чтобы запечатлеть их ясно и четко. Что касается укрепления морального духа, то здесь я смог прибегнуть лишь к нескольким грубым, но, казалось, внушительным доводам.

Я стал воспитывать в себе смелость довольно пустячными, ребяческими упражнениями. В то время как прежде я никогда не решался отодвинуть скользящую в пазах дверь, которая отделяет в трамваях сидячие места от площадки, — когда такую дверь открывали, шум привлекал к входящему внимание всех пассажиров, — теперь я несколько раз с грохотом вошел в трамвай и довольно сносно выдержал устремленные на меня взгляды. Но все это мало что доказывало, и, по правде говоря, я чувствовал себя паршиво.

Наконец наступил знаменательный вечер. Я дебютировал в «Валлон де Тюв», в квартале Сент-Антуан, и не на открытом воздухе, а в зале. Я лишний раз благословил Леденца: по крайней мере, я был уверен, что из окон соседних домов мое выступление не будут видеть зубоскалы вроде меня, всегда готовые охаять артиста.

Костюм для сцены стоил мне хлопот. Вначале, одержимый пылким рвением неофита, я хотел было облачиться в эксцентричное платье ярких цветов. Потом рассудил, что лучший способ избежать риска

показаться смешным, это выступить в выходном костюме, разве только чуточку оригинальном. Я надел безукоризненно отглаженную светлую пару, белую рубашку, голубой галстук, синие с белым туфли.

«Валлон де Тюв» не претендовал на фешенебельность, отнюдь нет. Невзрачная уборная, разделенная занавеской на две части — для мужчин и для женщин, была скупо освещена, и стародавние афиши, висевшие на стенах, тонули в полутьме. Несуразные низенькие стулья, стол из какой-то чопорной гостиной, вешалка, банки с гримом, окурки в стандартных пепельницах — словом, вся обстановка, убийственно неуютная, не внушала уверенности в себе.

На мгновение меня охватил панический страх. У меня похолодели руки и ноги. Я превратился в куль, в диванный валик, уж не знаю во что, я готов был покачнуться и рухнуть, растекшись по земле лужицей жижи. Я обливался потом. Я знал, что кусочек белой мастики, которой я замаскировал сломанный зуб, выпадет у меня изо рта посреди куплета, что публика освищет меня, что Леденец надает мне оплеух, как мальчишке, и я помчусь по ночным улицам, тщетно пытаюсь убежать от своей печали. Я был бледен, и чтобы чем-нибудь занять свои руки, начал накладывать на щеки румяна. Невозмутимый, как англичанин, эксцентрик, изображавший гуттаперчевого человека, сопровождая свои выкрутасы шуточками и анекдотами, ободрил меня, сказав несколько подходящих к случаю фраз. По горло занятый Леденец отверг мои капитулянтские предложения, похлопывая меня по плечу и говоря: «Мне это знакомо, ты трусишь, это даже хорошо, что ты трусишь, так оно и должно быть, плохо было бы, если бы ты не трусил, твой Фред Астер, я уверен, помирает от страха, и Шарль Трене тоже, и Морис Шевалье, и даже я, заметь, я не подаю виду, я держу это про себя, но, несмотря на мое мастерство, мой опыт и мой успех, меня тоже разбирает охота удрать, когда подходит моя очередь, но не со всех ног, потому что ноги у меня подкашиваются. Не надо портить себе кровь, это вроде морской болезни, тут ничего не поделаешь, но как только ты вышел на сцену,

всякий страх проходит, чувствуешь себя до того спокойно, что даже самому удивительно». Пока он ругался с эксцентриком по поводу программы, я, сделав над собой усилие, попытался отрегулировать дыхание. Потом, набравшись храбрости, на цыпочках пошел к кулисам, прокрался за задний занавес и посмотрел в зал.

Они были там. Их покорила исполнительница бытовых песен. Их добрые, доверчивые лица были обращены к свету. У них блестели глаза, и я их хорошо видел, потому что зал был маленький — метров десяти, может быть немного больше. Чувствовалось, что все они во власти какого-то очарования, и это их объединяет. Они составляли мою первую публику. Им предстояло судить меня, оправдать или изгнать. Они были справедливы и абсолютно непогрешимы, у меня не было в этом ни тени сомнения. Я был еще чужд всякой мысли о будущем, и ни на одно мгновение мною не овладела ужасающая уверенность, что дело идет о моей карьере, о моей судьбе. Я никогда еще не думал сделать это занятие своей профессией. Я был еще только Ивом Ливи, а не Ивом Монтаном, я был пареньком восемнадцати лет, который хотел заработать пятьдесят франков и доказать себе, что он не боится подняться на подмостки, но я еще не был певцом. И тем не менее у меня было непреложное убеждение, что эти мужчины и эти женщины составляют суд и что первый раз в жизни меня разберут по косточкам, взвесят все «за» и «против» и скажут: «У тебя пойдет», или: «Ты бесталанный бедняга, и только», дадут мне известную надежду или вынесут приговор, не подлежащий обжалованию. Это абсолютное убеждение лишь сверкнуло, как молния, в моем сознании, лишь кольнуло меня острой болью, лишь на полсекунды обрело меня на пытку в тот самый момент, когда раздались крики «браво» по адресу исполнительницы бытовых песен. Это было испытание. Я, который, собственно, ничего не умел, решил отдать себя на суд публики. Я пришел в этот полутемный зал, чтобы мне сказали, прослушав песни, которые я спою, действительно ли я кое-чего стою.

Наступила моя очередь, и я без оглядки шагнул на сцену. Это было похоже на то, как если бы я бросился

под колеса экспресса, но такого экспресса, какие снятся в кошмарных снах, экспресса, который несется на вас, как чудовищный зверь, надвигается с оглушительным грохотом, с каждым мгновением приближается, приближается, приближается и, наконец, превращается в мягкое-мягкое, нежное-нежное облако. Лица моих судей расплывались в сумрачном тумане, и, изощряясь в подражании Трене и Шевалье, я все поджидал ту минуту, когда из темноты покажутся и захлопают, как белые птицы крылами, их сильные, их спасительные руки.

К концу номера публика мне щедро аплодировала, и Леденец прижал меня к груди. Я уже не помнил о том странном, похожем на обморочное, состоянии, в котором находился на сцене. Тиски страха отпустили меня, и я чувствовал себя оправданным.

Я попытался извлечь мораль из этого первого опыта. В общем и целом Леденец был прав, и заработать пятьдесят франков оказалось довольно легко. Тоскливый страх странным образом забывался. Люди, заплатившие за вход в «Валлон де Тюв», были довольны мною. Это был положительный итог, но у меня все же оставалось ощущение, что между всем этим и работой Трене целая пропасть. Дома общее мнение сводилось к тому, что я проявил сметку, смелость и характер и что мои пятьдесят франков — вполне заслуженное вознаграждение. Но никому, даже и мне, не пришлось в голову рассматривать этот подвиг как серьезное указание на новое направление, которое примет моя жизнь. Уже весь реквизит трудолюбивых постановок Леденца, состоявший из всякого старого хлама, мешал относиться к артистической деятельности иначе, как с иронией. И потом не приходилось особенно гордиться тем, что ты сорвал аплодисменты у пятнадцати-двадцати человек, которые до этого уже аплодировали более или менее сносным пустякам и аплодировали бы еще и не тому. Не следовало ни впадать в неумеренное паясничество некоторых любителей, ни принимать себя всерьез, как мой опереточный патрон.

Я еще несколько раз выступил в неказистых бистро. Думаю, что я пел не лучше или немногим лучше,



Трехлетний Ив со своей матерью, братом и сестрой.

Дом родителей Монтана на окраине Марселя.

Двенадцатилетний Ив — рабочий фабрики макаронных изделий.

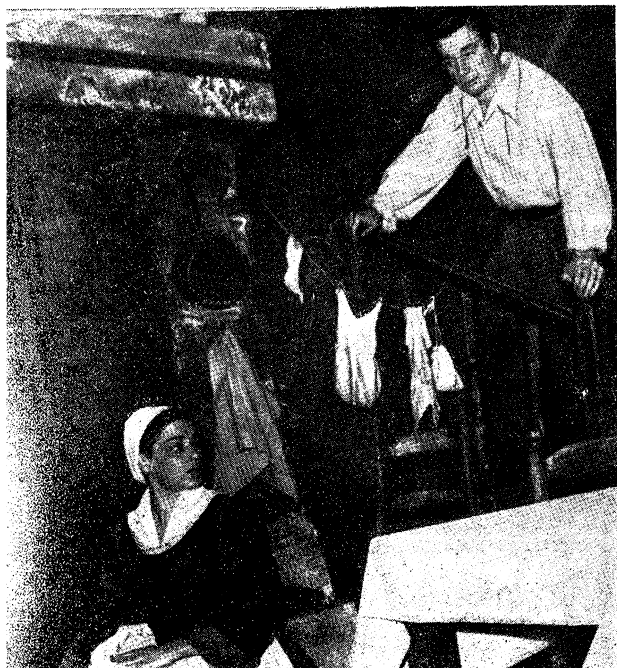




Ив Монтан исполняет свои песни.



Ив Монтан исполняет песню «Чистильщик ботинок на Бродвее».



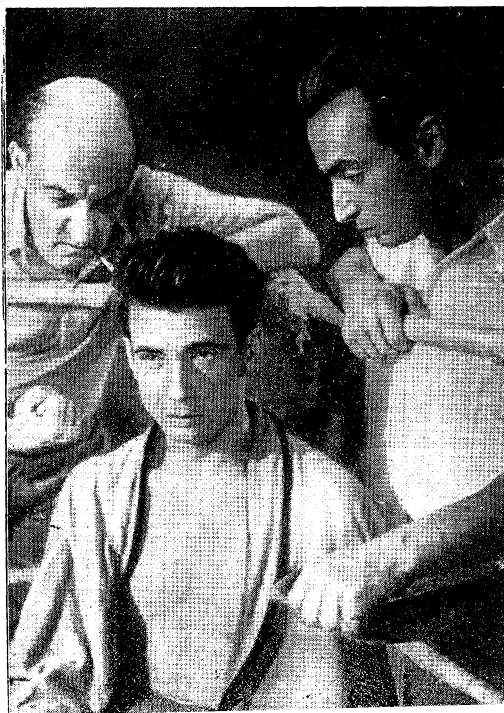
Ив Монтан и Симона Синьоре в ролях Джона Проктора и Элизабет Проктор в «Салемских колдуньях».



Ив Монтан — Джон Проктор (перед казнью).



«Плата за страх».



Ив Монтан в «Идоле».



**Ив Монтан
у телефона.**



Ив Монтан и Симона Синьоре идут на избирательный участок в день выборов в Национальное собрание 2 января 1956 года.

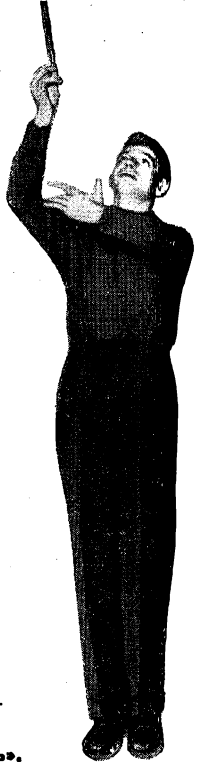


Ив Монтан и Симона Синьоре (Рим, февраль 1956 года).

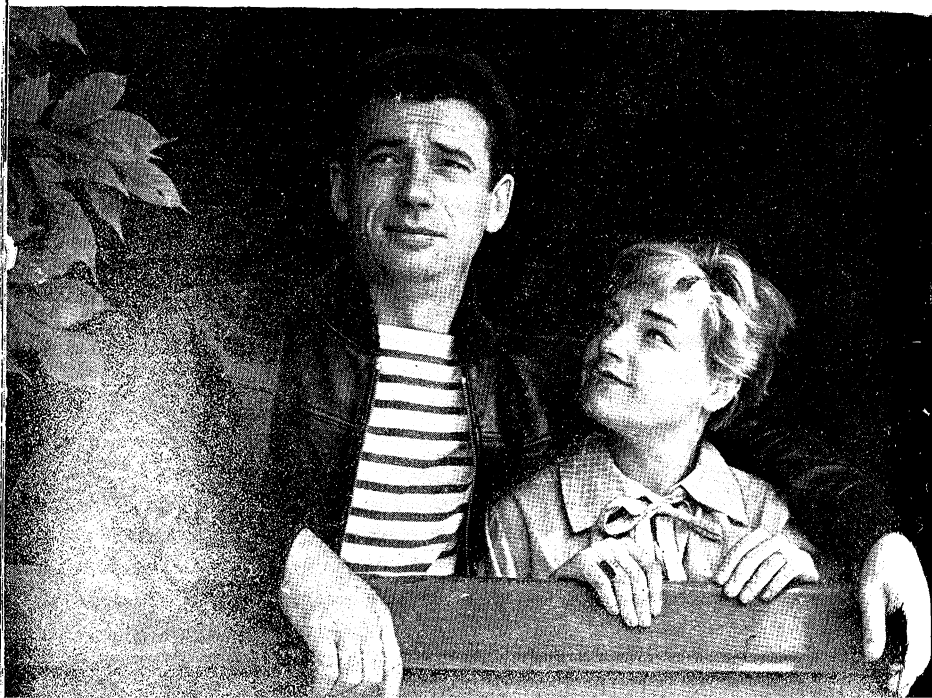


Ив Монтан в фильме «Утраченные воспоминания».

Ив Монтан и Симона Синьоре на ферме в Нормандии.



Ив Монтан — «дирижер» на концерте в зале «Этуаль».



чем у пианистки, но, должно быть, во мне было что-то возбуждавшее симпатию — мои выступления имели успех, правда в весьма скромном масштабе, перед добродушной и снисходительной аудиторией. Это привело Леденца в необузданный восторг.

— У тебя идет дело, Ив, у тебя идет дело, да еще как, ты сразу вырвался вперед, ты далеко пойдешь. Я никогда не ошибаюсь, у меня наметанный глаз. Тебе нужно продвигаться. Я устрою тебя в «Алькасар», да, да, в «Алькасар», на меньшее я не согласен, при моих связях и при моей известности мне это будет легко, считай, что дело в шляпе; а «Алькасар» — это уже не шуточка, «Алькасар» — это Марсель, это марсельская публика, а не простаки, которые собираются в бистро выпить по кружке пива в субботу вечером и для которых все сойдет... Ты молод, ты счастливее меня, ты не одинок, я тебя выдвину... Если бы мне так повезло, как тебе, и нашелся бы человек, который вовремя дал бы мне хороший совет, я был бы сейчас не здесь, а в Нью-Йорке или в Голливуде, чокался бы с твоим Фредом Астером и заставлял бы надрывать животы от смеха американцев и даже англичан, хотя их так трудно расшевелить...

У Леденца была мания величия. Я знал, что такое «Алькасар». Успех в «Алькасаре» означал попросту славу.

Леденец договорился обо всем, предоставив мне только пополнить мой репертуар и позаботиться о костюме: прежний не годился. Встретив слепого композитора Шарля Юмеля, я сказал ему о моем пристрастии к ковбоям и объяснил в общих словах, какой мне представляется песнь о моих героях. Он написал песню «В прериях Дальнего Запада», которую я включил в свой репертуар. Для исполнения этого номера я раздобыл где-то широкополую шляпу, которую окрасил в белый цвет, и заказал себе широкую клетчатую куртку.

За кулисами роскошного «Алькасара» совладать со страхом было невозможно. Я проявил бы больше смелости, идя на эшафот. Меня поддерживала только мысль, что в просторном зале сидят все мои товарищи:

даже если бы я пел отвратительно, они встали бы на мою защиту, они дрались бы за меня, как львы. С таким же ужасом, как и в первый раз в «Валлон де Тюв», я вышел на сцену.

И опять в последнюю минуту отпустила тоска, кровь прихлынула к сердцу, и я почувствовал, что ко мне возвращается воля, а с ней и силы борца, готового любой ценой добиться победы. Перед самым выходом, быть может, в полубессознательном состоянии, быть может, потому, что было действительно жарко, я снял мою клетчатую куртку. Я появился перед публикой в коричневой рубашке и того же цвета брюках, не подозревая, что впоследствии это станет моим обычным сценическим костюмом.

Песенка «В прериях Дальнего Запада» всем очень понравилась, и широкополая шляпа произвела впечатление. Я чувствовал себя настоящим ковбоем, приехавшим в Марсель специально для того, чтобы спеть марсельцам песнь своей родины. Я метался по сцене. Я помогал себе жестами и мимикой. Я прыгал и танцевал. Я был весь в поту, но на этот раз пот катился крупными каплями от доброй работы, а не выступал от страха противной испариной. Работа эта была по мне, и я себя не жалел.

Аплодисменты еще гремели орудийной пальбой, а я уже был в уборной. Тяжело дыша и пожимая протянутые ко мне руки, я слушал, как этот гул прокатывается по залу, затихает и снова нарастает. Я представлял себе моих приятелей и их крепкие, надежные руки. Я знал, что хлопали мне не только из чувства товарищества, а потому, что они были мною в самом деле довольны. Что бы я ни думал и ни говорил, меня уже захватила профессия актера.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Война обрушилась на мою едва начавшуюся карьеру и развеяла ее в прах.

В мягкой тишине уборных, в ошеломляющей неразберихе, царящей за кулисами, в шуме аплодисментов и возгласов «браво», заливающих сердце горячей волной счастья, я позабыл о неминуемой катастрофе. Мои

песни принесли мне пленительные радости своего рода увлекательной игры, и я сделался глух к угрожающему гулу, доносившемуся извне. Наступило тягостное пробуждение. Вулкан, на котором все танцевали, наконец, в самом деле разверзся. Время песен прошло.

Через город снова потянулись колонны серых грузовиков, орудия, угрюмые, подавленные солдаты, сошедшие с пароходов, отдувавшихся клубами черного дыма, и на улицах теперь доминировали высокие голоса женщин и крик расшалившихся ребятишек, которых уже не сдерживала боязнь получить взбучку от отцов, мобилизованных в армию. Снова уехал мой брат. На фронт...

Отец помрачнел. Он, вздыхая, слушал официальные сводки и более или менее убежденные речи государственных деятелей, захлестнутых событиями. Их красноречивость не рассеивало опасностей, которым подвергался его старший сын на передовой в ожесточенных стычках патрулей. Сомнительный исход предстоявших в недалеком будущем битв грозил уничтожить достигнутые ценою суровых жертв завоевания трудящихся и на многие годы повергнуть народы в отчаяние. Вечерами, в семейном кругу, за столом, где одно место теперь пустовало, мы больше не чувствовали себя неуязвимыми. Мама с трудом сдерживала слезы.

Уже начавшаяся трагедия, как умело поставленный спектакль, на время, казалось, остановилась в своем движении к неизбежной, предопределенной развязке. Вся зима прошла в ожидании. Это была суровая зима, снежная и ветреная, с жестокими холодами.

Предающийся мечтам и фантазиям молодой человек, которого события внезапно возвращают к действительности, теряет, увидев себя в обстановке, полной опасности. Война недоступна пониманию юноши. Иные старики, умудренные горьким опытом и много размышлявшие или, напротив, искушенные в макиавеллизме, усвоенном за долгие годы более или менее тайного пребывания у власти, быть может и разбираются в сцеплении причин и следствий, порождающих войны и определяющих их ход. Но познания этих старцев ничем не помогают юношам, которым приходится или пред-

стоит воевать. Итак, я машинально вступал в эпоху военных потрясений.

Опьяненный своими первыми успехами на сцене, я мало-помалу забросил ремесло парикмахера. Я не пытался понять, в чем дело, но со мной произошло нечто необычайное. Так дети, внезапно обнаружившие доселе совершенно неизвестный им предмет, какую-нибудь чудесную машину, бросают свои прежние занятия, чтобы всецело отдаться новым радостям, которые приносят им их открытия. Это влечение, которому невозможно противиться, внутренняя потребность, быть может гипнотизм. Я оставил ножницы и гребенку и вступил на манившее меня поприще певца, не слишком задаваясь вопросами, не решив еще сделать из этого профессию, не заглядывая в будущее и довольствуясь преобразенным настоящим. Когда это настоящее обратилось в прах, а ремесло парикмахера между тем стало для меня уже прошлым и, как мне казалось, далеким, давно позабытым прошлым, мне не осталось ничего иного, как приспособиться к требованиям момента, как бы ни были суровы эти требования. Я поступил подручным на «Средиземноморские верфи», где нужны были рабочие руки.

Я стал молотобойцем. У меня был здоровенный молот, круглолобый, с длинной рукояткой, и я изо всех сил бил им по стальным листам. Эти удары составляли одну из операций, имевших своим назначением превратить в корабельные котлы тяжелые металлические пластины, подававшиеся лебедками или кранами.

«Средиземноморские верфи» занимали огромную площадь. Среди куч железного лома, узкоколеек, покрытых ржавчиной эллингов и каких-то необычайных сооружений с места на место передвигались бригады рабочих в синих комбинезонах, и со стороны казалось, что здесь царит ужасающий хаос. Однако из этого хаоса рождались орудийные башни, броня, паровые котлы, буи для подводных кабелей.

Работа сотрясала человека. Удары молота по листовой стали отзывались во всем теле, ломило руки, свербило в животе. Шум оглушал. В воздухе густым облаком стояла ржавая пыль; ее волей-неволей приходилось

глотать, ею дышали, она въедалась в бронхи. Чтобы бороться с ее вредоносным действием, рекомендовалось пить как можно больше молока.

Прошло несколько недель, прежде чем мне удалось преодолеть отупение, вызванное усталостью и несмолкаемым шумом. Я возвращался домой разбитый и обалдевший от грохота, в изнеможении падал на кровать, и долго еще у меня в голове отдавался адский стук молотков по заклепкам котлов, опрокинутых вверх днищем, под которыми я сидел, как в застенке, обреченный на пытку. Но в конце концов привычка сделала свое, и мне стала ясна, как солнце, вся красота этого труда.

Труд, плодов которого не видишь, оставляет чувство неудовлетворенности. Он похож на родник, что бьет из земли у тебя на глазах и, тут же пропадая, бежит неизвестно где, неизвестно как, бог весть куда, — родник, от которого нет проку. Работаешь, как волна, надсаживаешься, выбиваешься из сил, и никакого результата, как будто переливаешь из пустого в порожнее. Разве что в конце недели уносишь скудную зарплату, не будучи даже уверен, что оставляешь за собой вещественный след. Здесь, на верфях, я, напротив, от начала до конца присутствовал при рождении чудовищных громад — корабельных котлов. Здесь можно было проследить за их возникновением из груды металлических пластин, можно было видеть, как малопомалу они вырастают и обретают свою форму. И каждый удар молотка помогал этому рождению гигантов.

Впервые в жизни я что-то строил. Укладывать букли, причесывать, приводить в порядок шевелюру значило всего лишь тешить кокетку, слегка и ненадолго украшать подчас безмозглую голову женщины. Это было забавой, пустым, несерьезным занятием. Теперь тяжелыми ударами молота я помогал производить могучие машины. Я испытывал от этого чувство гордости. Я понимал светлую радость созидания, знакомую всем трудящимся, радость каменщиков, землекопов, плотников, которая побуждает их, словно вывешивая праздничные флаги, водружать букет цветов на конек кровли отстроенного дома. И я чувствовал, точно мощный флю-

ид, силы солидарности, связывающей меня с моими товарищами по работе. Я больше не был одинок, я перестал, замыкаясь в себе, метаться в тесном кругу вздорных надежд и гнетущих сомнений. Это было само братство.

По воскресеньям у меня было время подумать о перипетии, сделавшей меня металлистом. Я не торопился вставать и, лежа в постели, курил сигарету за сигаретой, прислушиваясь к знакомым и милым звукам, знаменующим выходной день.

Итак, я еще раз начал новую жизнь. Работа на заводе макаронных изделий, ученичество в парикмахерской, выступления на сцене — все это были лишь анекдотические эпизоды, какие каждый переживал, прежде чем всерьез вступил на то или иное поприще. Теперь можно было полагать, что я стану квалифицированным рабочим. Радость созидания и сознания братской связи со множеством мужественных и честных людей с избытком компенсировали в моих глазах суровые стороны профессии.

Я вновь задумывался о моих дебютах в качестве певца. Страх, бьющие в глаза огни рампы, кулисы, из-за которых с роковой неизбежностью нужно выйти на сцену, все это вместе было одиночеством. Но аплодисменты, озаренные лица, руки, взметнувшиеся из темноты, тоже означали братство. Я вспоминал цыган былых дней, их появления, очаровывавшие нашу унылую улицу, их гитары, в чьих напевах звучала вся боль и тоска погруженного в ночную темень квартала. Я вспоминал об облегчении, которое они приносили, быть может не сознавая этого, таким людям, как мы, всегда лакомым до надежды, всегда поджидающим ее вестников. После их ухода, хотя они и не высказывали этого в ясных и определенных выражениях, каждый говорил себе, что все неминуемо должно измениться. Эти гитары, так умевшие убеждать, эти песни, исполненные нежности и гнева, яркие, как цветы, и разящие, как кинжал, по-своему провозглашали грядущее основание нового, более справедливого мира и наделяли каждого, как бы втайне, эликсиром мужества и веры в нашу непобедимость. Без них квартал оставался бы

обособленным, замкнутым в себе, словно на отшибе, и бои, которые здесь готовились, не знали бы пламенного народного энтузиазма, которым отличаются революционные вспышки. У цыган не было молотов, но они тоже ковали котлы. Эти котлы можно было кое-как установить в старых, полуразрушенных домах, похожих на заброшенные суда. Незримые, но таящие неслышанные силы, они были способны сдвинуть с места и толкать вперед эти ветхие остовы зданий, увязшие в безрадостных предместьях. Флот, целый флот, армада вышла бы в открытое море, покинув Марсель с его дымами, заводами и улочками. Для этого достаточно было бы одного такого котла в каждом доме — одного человека, поющего цыганскую песню...

Я со своим молотом теперь тоже делал котлы, настоящие, зримые, измеримые, весомые котлы мощностью бог знает во сколько лошадиных сил. Они должны были двигать не дома рабочих окраин, а грузовые суда. Но в другом месте, на других верфях, почти таких же, как здешние, другие люди, стуча молотками, изготавливали пловучие мины, и эти люди, отдыхая в воскресенье, тоже с гордостью думали о своей работе, которая давала осязаемые результаты: длинные ряды торпед, груды смертоносных шаров — морские бильбоке. А все это вместе — их мины, их торпеды и мои котлы — рождало безмерный абсурд, чудовищный фонтан крови и грязи. В конце концов все обращалось в нелепый смерч, в изодранный в клочья морской туман, а дома все ждали и ждали. Моим котлам суждено было, явно без всякой пользы, затонуть в морях, яростно исхлестанных сталью. От всего, чем мне была дорога моя работа, оставалась только та удивительная человеческая теплота, которая согревает тех, кто бок о бок тянет одну и ту же лямку.

После этих размышлений я выходил из дому побродить по улицам Марселя. Они не были ни веселыми, ни печальными, но, как всегда, были запружены разношерстной толпой. Мой брат где-то на востоке в перебежках пригибал голову, хоронясь от свищущих над ухом пуль, стрелял в серо-зеленых призраков, рыл убежища в лесах, где уже можно было приметить при-

знаки невозмутимой весны. А я между тем с головой уходил в настоящее, ловил момент и торопливо замыкался в нем, как в скорлупе. Быть может, это тоже была своего рода война. Воскресенья молодых металлостов — это войны, которые нужно выиграть любой ценой, это если не хлеб, то хотя бы сухари, которые нужно сгрызть, не потеряв ни единой крошки. Но фильмы, танцы, шумные выпивки, мимолетные романы, переживаемые со сдержанной яростью, как коллизии, были всего лишь огоньками спичек, вспыхивающих на мгновение в глухой ночи. А затем опять начинались будни...

После событий, развернувшихся с молниеносной быстротой и получивших глубокое отражение, война разбушевалась и обернулась плохо для нас. Мой брат попал в плен и посылал нам из-за колючей проволоки приходившие с большими интервалами письма, в которых мы, читая между строк, чувствовали его спокойное мужество и непоколебимую уверенность в торжестве правого дела. На «Средиземноморских верфях» произошло сокращение: теперь уже не было насущной потребности в котлах. Меня вышвырнули за дверь, и я стал безработным.

Чтобы получить жалкую подачку, мне приходилось часами простаивать в длинных очередях. У нас были карточки, на которых равнодушные чиновники ставили штампы. Таких людей, как я, вынужденных прибегать к своего рода замаскированному нищенству, объединяло уже не горячее братство труда, а мрачная апатия, порой нарушавшаяся благотворными порывами возмущения. Мы чувствовали себя униженными, наше человеческое достоинство было попрано. Мы принадлежали не к коллективу, а к стаду. Нас толкали, гоняли с места на место, выпроваживали. Несчастные и озлобленные, как дети, которых не принимают в общую игру, мы хотели бы объединиться, сплотиться в монолитное войско и двинуться на тех, кто так обходился с нами: Но где они были, эти люди, которые всем заправляют, всегда оставаясь в тени, всегда прикрываясь удобными принципами и прячась за спинами охранников?

Я стал докером. Я работал не на разгрузке судов,

а в бригаде, которая обслуживала грузовики, перевозившие фрахт, предназначенный для предприятий города и области. Ребятишки смотрели на нас, как когда-то я сам смотрел на докеров, сновавших взад и вперед, сгибаясь под тяжестью ноши. Должно быть, они тоже сравнивали нас с машинами, с муравьями. Наверное, они жалели нас и вместе с тем восхищались нашей силой. ...Вон они, эти парни, эти коренастые грузчики, которые должны повиноваться господам с толстыми сигарами в зубах... Они выгружают шерсть для этих господ, а господам не терпится, господа выходят из себя: «Нужно сейчас же разгрузить это судно, я потеряю миллионы, вы понимаете, миллионы, если эти люди не разгрузят его как можно быстрее, им за это платят, на то они и докеры, на то у них и мускулы, моя шерсть не может ждать, или я потеряю миллионы, заводы задыхаются без шерсти. Европе нужны шинели и гимнастерки, эти люди могут поторопиться ради Европы, война продолжается, разве они не знают, разве им не говорили, что война в разгаре, что это еще не конец?..» Стану ли я, когда вырасту, докером, чтобы работать, выбиваясь из сил, или важным господином с сигарой в зубах, эти люди останутся для меня друзьями, и я не забуду, если мне когда-нибудь доведется курить сигары, о муравьином труде докеров, об их изумительной сплоченности и силе, которую они сознают и которая может быть употреблена не только на то, чтобы выгрузить тюки шерсти, или уголь, или цемент, или бревена, или фрукты, но и на то, чтобы попри- тушить сигары в зубах у заводчиков, отправить назад неразгруженными суда, вошедшие в порт, наделать шума и задать страху...

Думала ли все это орава ребятишек, шнырявших тут и там, или эти мысли проносились в моей голове, уходящей в плечи под тяжестью мешков? Приходилось ли выбирать между участью докера и судьбой господина с дорогой сигарой в зубах?.. Мальчишки, которые смотрят, как мы таскаем мешки, ходят по пятам за человеком, толкующим о миллионах, и отворачиваются от нас с нашими мешками. Но это наши мешки, наши собственные мешки, наше общее достояние, и вот этот

труд вновь обретает свой подлинный смысл: это благородный труд, мы любим его, он сродни борьбе. Мы несем на головах тяжелые мешки, которые принадлежат нам, и наш труд не утекает в бумажник дородного господина, а остается среди нас, кружится в хороводе, танцует на набережных, и все мы связаны между собой, словно гирляндами цветов, этим суровым трудом... Как знать, думала ли это за нас орава сорванцов, глазевших, как мы работаем, или сидевшие в каждом из нас такие же сорванцы, какими мы были когда-то?

Меня обучили наилучшим образом носить тяжести. У меня окрепли мускулы, я стал выносливее. Равновесие сделалось для меня близким понятием: его непрерывно приходилось терять, восстанавливать, на мгновение нарушать, сохранять, приравниваясь к дыханию, как будто бежишь за надутым на славу мячом, и как только коснешься его, он укатывается, скотина, а стоит схватить его немного крепче, чем нужно, — выскакивает из рук.

Прибежищами и тут были воскресенья. Быть может, для некоторых воскресенье — это бесцветный и незначительный день, когда надевают перчатки и котелок, рассыпаются в комплиментах и строят вежливые гримасы, мямят «прошу вас», «моя дорогая», «какой очаровательный вечер», «конечно, конечно», быть может, для иных это день, когда нет спасенья от целлюлоидного воротничка и камерной музыки, но для тех, кто всю неделю работает до седьмого пота, это передышка, отдых, драгоценный досуг, возможность разогнуть спину. Я опять начал втайне мечтать о Леденце и его представлениях, о прериях Дальнего Запада, о Трене, о лицах, которые с напряженным вниманием смотрят на тебя из-за рампы, о том блаженном чувстве, которое охватывает тебя, когда рассеивается страх, о криках «браво», о неизвестных друзьях, которых у тебя оказывается сразу двадцать, или тридцать, или сто, потому что в песне, пропетою тобой, было одно словечко или обрывок фразы, который они поняли. Я думал: вот мы, докеры, и металлисты, и железнодорожники, и шахтеры — словом, рабочие люди, живем беспросветной жизнью, и нас эксплуатируют, нас обкрадывают на

нашем труде, а еще есть солнце, на которое некогда смотреть, и любовь, не похожая на ту, какой она должна бы быть, и девушки, которые не замечают таких, как ты. В общем что говорить, веселого мало. И вот приходит человек и поет для нас, поет фразы, в которых сказано, что достаточно золотой песчинки, чтобы засияла надежда, фразы, которые развеивают грусть и тоску, потому что порою, если удастся выразить свою печаль, она улетает, подобно тому как в поверьях околдованный избавляется от злой участи, произнеся магическое заклинание, — была и нет ее, и вот уже с новой фразой перед тобой открывается вся красота мира, и певец исчезает, оставив нам свои мелодии, которые все повторяют, насвистывают, напевают, уже не чувствуя себя такими потерянными... Этот человек, который приходит петь, похож на нас, он такой же, как мы, только вместо того чтобы работать молотком или киркой или носить мешки, ему приходится побеждать страх, как это было со мной, и выбирать песни, наиболее соответствующие нашим потребностям, а это не так-то просто. Ну и пусть он устраивается как знает, это его ремесло, а мы, трудящиеся, хотим только, чтобы кто-нибудь приносил нам живые, действенные песни... Я думаю обо всех тех, кто поет, обо всех тех, кто выступает на сцене, кто отшлифовывает строки, кто пишет романы. Должно быть, их миллионы на нашей планете, но мы не можем угнаться за ними, — у нас для этого даже времени нет, уже не говоря о том, что мы не всегда умеем — нас не учили этому — распознавать запутанные пути, которые они порой выбирают... Я думал: нам нужен кто-нибудь непосредственно связанный с нами, брат, товарищ — такой человек, который умел бы открывать нам прекрасные вещи так, чтобы мы думали, что они всегда были у нас в голове, в сердце, только оставались под спудом, как полировка под слоем окиси...

Если бы докеру, металлисту, шахтеру вдруг сказали без всяких предисловий, что некоторые из тех людей, которых мы видим на экранах или слышим по радио, могут быть нашими товарищами, они бы очень удивились. Ведь нас приучили думать, что кинозвезды

и прочие знаменитости вращаются в совершенно недоступных кругах и простым смертным разве только оставляют свои автографы на клочках бумаги, подсунутых почитателями таланта, да улыбаются издалека с глянцевиных обложек иллюстрированных журналов. По воскресеньям, когда я имел возможность передохнуть, я представлял себе артистов, которые могли бы быть для нас просто товарищами...

Я был докером всего несколько недель. Повестка, не допускающая никаких возражений и отговорок, сразу оборвала нить новых привычек, которые я приобрел: меня призвали в «молодежные лагеря», то-есть на своего рода военную службу, заменившую во время оккупации обычную допризывную подготовку.

Шесть месяцев... Нас держали в барачном городке, построенном на полуусушенных болотах Иер. Мы боролись с голодом, блохами, клопами, комарами и невыносимой скукой. Мы с тоскою смотрели, как плещет море вдали.

Маршировать. Выполнять явно бесполезные упражнения. Перестраиваться на ходу. Рубить лес. Строить бараки. Делать перебежки. Поглощать нездоровую пищу — безвкусную бурду, именуемую супом, сомнительные овощи, тухлую рыбу... Спорить с товарищами, иногда очень близкими, в которых ты видел свое второе «я», своих двойников, но которых, однако, спустя час или два просто не узнавал, потому что они говорили обратное тому, что доказывали прежде, и переходили от самого необузданного оптимизма к самому черному пессимизму... Вступать в заговоры ради рискованных предприятий, впрочем довольно ребяческих, обкрадывать продовольственный склад, бредить романтическими побегам, бунтами, мятежами, бравадами, фарсами... Спать... Все это вместе и означало «служить Франции в молодежных лагерях».

Постылый лагерь... Нас было там много, ни ангелов, ни апашей, а просто молодых людей, которым почти неизбежно предстояло стать уважаемыми гражданами, но ни одно из наших хороших качеств не давало себя знать. У каждого из нас в отдельности были свои слабости, но и свои достоинства, свои возможно-

сти, свой неисчерпаемый запас благородных задатков. Все мы были плотью от плоти человечества, и ни один из нас не был выродком, но вопреки всему лагерь в целом обнаруживал полную моральную несостоятельность. Деревья, посаженные там и тут, могли навести на мысль о тихом пыле, о светлом горении тех, кто ухаживал за этими саженцами. Лошади, бродившие в загонах, поросших густой, похожей на осоку травой и луговыми цветами, казалось, свидетельствовали о здоровой и поэтичной жизни на лоне природы. Но на самом деле наш лагерь был не чем иным, как нелепым и гибельным поселением молодежи, испытавшей горечь поражения и поставленной в условия, обрекавшие ее на растерянность и душевное смятение, поселением, подвластным странному закону и как бы придавленным к земле порывами наводящего уныние мистраля...

Я знал теплоту семейных уз, круговую поруку шаек бездельников, кипение охваченных единым чувством народных сборищ, братскую солидарность рабочих. Я стал в тупик, оказавшись в этом лагере, у которого, повидимому, не было коллективной души. Правда, у меня нашлись там хорошие друзья, но то была дружба, питавшаяся общей горечью и общим разочарованием, — дружба, которая объединяет в стране, пришедшей в упадок, тех из ее сыновей, кто не хочет с этим смириться...

Я и теперь еще спрашиваю себя, чем объяснялся тот парадокс, что собранные в одно место сотни юношей были полностью лишены деятельных сил и единства. Кто же вырыл пропасть, в которой бесследно пропадал молодой задор каждого из них? Почему эти юноши, вчера еще принимавшие горячее участие в жизни того или иного коллектива — колледжа, школы, спортивной команды, завода, — здесь составили инертную массу? Привели ли их к этому умышленно? Или тому виной была глупость начальства? Не в том ли дело, что здесь копировались методы, применяемые в казарме, где так хорошо умеют превращать людей в неодушевленные предметы, где их лишают способности к объединению?

Некоторые из наших начальников обращались с нами сурово. Хотя они и заставляли нас петь веселые песни, но не скрывали намерения муштровывать нас без всяких церемоний и не давать нам спуска. Франция прогнила, говорили нам. И мы несли ответственность за это в силу нашей лени, нашей приверженности к комфорту, наших роскошеств, наших низких инстинктов и потери уважения к вечным ценностям.

Ораторы умели принимать исторические позы и гордо выпячивали грудь, которую оставалось только украсить орденами. Они сражали нас взглядами, сжимали челюсти в конце героических фраз и выдвигали вперед подбородок. Они раздражались бранью, а потом склонялись перед знаменем. Незапятнанно чистые перед родиной и потомством, они снисходительно соглашались поставить нас на трудный путь искупления. Они упоминали о тяжких, но необходимых жертвах и курили фимиам некоторым достойным мужам, которые должны были служить нам примером. Похоже было, что они ни в грош не ставят человеческую жизнь и в случае надобности, не моргнув глазом, пойдут на самые свирепые меры.

В старинных преданиях пленники, заключенные в башни с толстыми стенами, поступают, как птицы в клетке: поют. Это их способ бежать из темницы.

Из этого лагеря, где царили апатия и душевный холод, я тоже выбирался на волю, как из мрачного лабиринта, держась за непрочную нить внутренней песни. Она уводила меня далеко-далеко. Я снова думал о Трене, о моих ковбоях, о дошедших до нас из глубины веков балладах про жестоких королей, красавцев барабанщиков и мечтательных принцесс. Я думал также о славном времени доброй работы, работы, на которую не гнали строем, о доках, о сильных и мерных ударах молота по металлу, о доверчивых лицах, на которых еще лежал отпечаток дневной усталости, с жадным вниманием обращенных к подмосткам в субботу вечером. Я снова почувствовал страстное желание, потребность петь для публики. Мало-помалу, незаметно для меня самого, это стало моим подлинным и непреодолимым призванием.

«... Когда я вернулся из «молодежных лагерей», меня взял на попечение серьезный импрессарио Одифред. Он заставил меня начать все сначала, с азов, и я, по его указанию, стал брать уроки у одной очаровательной и вполне компетентной старой девы.

Леденец не одобрил этой «измены», этого «перехода на сторону врага». Он не хотел меня отпускать. Он самыми разнообразными методами пытался заставить меня отказаться от моего решения.

— Ты мое детище, я тебя открыл, я тебя обучил, я привил тебе любовь к профессии, это у меня на сцене ты выступил в первый раз, это там ты почувствовал свое призвание, и в «Алькасар», шутка сказать, в «Алькасар» ты попал благодаря мне, ты не можешь этого забыть, ты для меня все равно что сын, я сделал из тебя человека, ты всем мне обязан, ты должен остаться, мы с тобой прогремим на весь мир, я знаю, что такое публика, я знаю, что такое карьера, я тебя выдвину, при моих связях и моем опыте это левое дело...

Ты неблагоприятный человек, можно сказать, подлец, вот она, молодежь, ни на кого нельзя положиться, мне нужно было это раньше понять, я делал ставку на него, а мось гнушается мной, потому что у меня нет бланков с моим именем, потому что я не обрабатываю публику, а сам выступаю и не заставляю себя упрашивать. Порядочные люди так не делают, ты мне обязан всем, и вот награда, меня же отпихивают, хороша молодежь. Интересно, как ты думаешь со мной расплатиться, дрянцо ты этакое, да, да, ты стал дрянцом, скажу напрямик...

При моих связях я мог бы в два счета сломать тебе шею, пока ты еще только начинаешь выходить в люди, я мог бы заставить тебя вернуться ко мне и просить прощения, плакать от стыда и бешенства. При моих связях и моем положении в артистическом мире, если бы я только захотел, я не дал бы тебе и рта раскрыть, для этого есть средства, можно уничтожить карьеру в зародыше, зрительные залы, мой дорогой, когда надо, заполняют своими людьми, аплодисменты, дружок, заглушают шиканьем, и будь я злым человеком; я бы это сделал, стоит мне пошевелить мизинцем, да, да, по-

шевелить мизинцем, и ты уйдешь со сцены оплеванный и освистанный, ты еще не знаешь всего этого, мой дорогой, хоть и думаешь, что ты умнее всех, ты понятия не имеешь об артистической кухне, ты, брат, еще новичок...

Ив, я не в силах тебя отпустить, я бросаюсь угрозами, я говорю, говорю, но верно одно: ты меня огорчаешь. Неужели ты покинешь своего отца, чтобы отправиться неизвестно куда, наугад, и пуститься во все тяжкие? Неужели ради какой-то блажи ты повергнешь свою семью в уныние и слезы? Я тебе говорю, ты не найдешь лучшего вожатого, чем я...

Леденец был не злой человек. Он обожал свое дело и готов был все отдать за него. Но ему вскружил голову успех, которым он пользовался у местной публики, и он ничего не видел дальше марсельских предместий. Он давно уже перестал быть объективным.

Он предложил мне заключить с ним контракт, согласно которому ему отчислялись бы двадцать пять процентов из моих гонораров. Я отказался. Я не любил, когда Леденец жонглировал цифрами и, как я чувствовал, пытался встать на пути моего будущего со своими коммерческими сделками. Наконец, бросив уламывать меня, он начал, как всегда, прибегая к маневрам, которые было невозможно предугадать, торговаться о плате за мою свободу и запросил тысячу франков у моих родителей, без колебаний выплативших ему эту сумму, хотя в то время для них это было серьезной жертвой. Я покинул его с легким сердцем. Я знал, что многим обязан ему, но разве на этом основании он был вправе требовать от меня, чтобы я и впредь возился со всяким хламом в его чортовой лавке старьевщика, откуда никто, даже он сам, и прежде всего он сам, так никогда и не выбрался... Горячая поддержка, которую мне оказали родители в моих препирательствах с Леденцом, не означала, что они одобряют меня за то, что я бесповоротно избрал столь рискованную жизнь. Мама в особенности считала, что от этого не приходится ждать ничего хорошего. Основываясь на газетах и на общей молве, обычно составляют себе невыгодное представление об

артистах и относятся к ним со скрытым осуждением. Мама даже видела в моем выборе неосознанную тенденцию уклониться с прямого пути. Она уже себе представляла меня в тех сомнительных сферах, где достаточно сделать один ложный шаг, чтобы покатиться по наклонной плоскости. Отец как только мог успокаивал ее, восхваляя смелость, но и сам дрожал за меня при мысли о том, что я попаду в среду, к опасностям и ловушкам которой я был совершенно не подготовлен. Он не мог помешать себе считать, что мое стремление стать профессиональным певцом — верный признак легкомыслия и политической несознательности. Его старший сын находился в лагере военнопленных в Германии, а младший отрекался от своего класса; для ветерана рабочего движения это было невеселой старостью. Всецело поглощенный своими планами, я не подозревал об отцовской печали и не чувствовал себя отщепенцем: я уже ясно понимал, что можно стать артистом, не порывая со своими товарищами, что можно петь вместе с ними, для них и от их имени...

Я с крайним усердием принялся учиться профессии, о которой так мало знал. Это меня еще и сейчас удивляет: до тех пор ничто не позволяло предположить во мне если не педанта, то хотя бы прилежного ученика. Я старался изо всех сил.

Еще когда я только начал выступать, я брал уроки у одного учителя танцев, усача, преподававшего в России в царское время. Этот беспощадный старик выработал у меня гибкость и научил меня тысяче различных способов двигаться на сцене. Тяжелая работа, которую я выполнял в течение дня, правда, не давала одрябнуть и развивала мускулы, но плохо отражалась на суставах. Балетмейстер помог этой беде, и сочленения у меня стали, как у ребенка. Скоро я превзошел в эластичности движений тех заносчивых и вспыльчивых гвардейских офицеров, которых когда-то готовили в Санкт-Петербурге.

Теперь я самостоятельно возобновил тренировку, и ко мне вернулась прежняя гибкость. Я занялся также сольфеджио и английским языком. Я пробовал подготовить оригинальный номер, разрабатывал эффектный

выход, пытался создать своего рода сценические силуэты. Одно время я питал особую нежность к облику гангстера в котелке и полосатом жилете, в изобилии снабженного револьверами и посасывающего сигару.

Когда Одифред почувствовал, что я дозрел, основательно «накачан» и полон решимости выдать максимум того, на что я способен, он «пустил меня в ход». Сначала я участвовал в постановке, где гвоздем программы было выступление Рины Кетти, а я оставался на втором плане. Потом я выступал в ревю «Безумный вечер», которое проходило в очень быстром темпе и в котором мне уже принадлежала главная роль. Крикливые, быющие на сенсацию афиши объявляли обо мне так: «Ив Монтан — динамит на сцене».

С «Безумным вечером» мы ездили из города в город, и ревю обошло весь юг Франции. Оно имело шумный успех, который конкретизировался для меня в повышенных гонорарах и газетных статьях, иногда полных дифирамбов в мой адрес.

Мне случалось зарабатывать до восьмисот франков в день, что превосходило все мои ожидания. Мама была ошеломлена этим золотым дождем. Она видела в нем лишний повод для беспокойства: в бедных семьях неожиданный приток денег всегда кажется подозрительным. Но я думал только о том, чтобы петь. В этом для меня было все...

От меня не ускользнуло, что профессия певца не давала мне ощущать с той непосредственностью, как на «Средиземноморских верфях» и в доках, великолепную пролетарскую солидарность. Я уже не был среди товарищей. Правда, став зрителями, они, связанные между собой тем безмолвным договором, который делает зрительный зал единым целым, чувствовали меня в своей среде. Но на сцене я оставался один, и надо было, чтобы мне аплодировали от всего сердца, чтобы я снова почувствовал прочность той связи, которую называют общением с публикой. В конце концов мой страх, быть может, и был лишь безумной боязнью ока-

заться не в силах установить этот спасительный, этот бесценный контакт, тоскливой тревогой, которую не может не испытывать тот, кто должен один создать атмосферу взаимного понимания, горячей симпатии, душевного слияния — своего рода молниеносную любовь. Я с некоторым сожалением вспоминал о тех горячих вихрях, которые захватывают вас в толпе, шагающей к верной и давно намеченной цели. Я познал эту благодать на площади Канебьер среди рабочих, объявивших забастовку по призыву профсоюза.

Речь шла о том, чтобы добиться выполнения наших законных требований, которые к тому же нам неоднократно обещали удовлетворить, всякий раз откладывая это на будущее. Мы решили направиться колонной к префектуре, чтобы подкрепить эти требования и форсировать переговоры, которые наши наниматели всячески старались завести в тупик. Я шел, затерявшись в общей массе, и у меня было легко и весело на душе. Я, как и другие, думал, что все пойдет хорошо, что это только демонстрация и что, увидев нашу сплоченность, хозяева призадумаются.

Первый натиск жандармов был для всех неожиданным. Они появились с прилегающей улицы в касках и в полном снаряжении, размахивая своими винтовками, как дубинами.

Меня охватил страх. Мне хотелось убежать со всех ног. Полицейских было много. По их бледным и искаженным от злобы лицам было сразу видно, что в случае надобности они охотно станут стрелять. Они выкрикивали ругательства, и их тяжелые сапоги на железных подковках грохотали по тротуарам, как гусеницы танков.

Люди, сбитые с ног ударом приклада, падали, как кегли. Другие бежали, держась за голову. Порой из свалки показывались окровавленные лица — трагические мячи в смертельном регби.

Это нападение ошеломило демонстрантов. На минуту наступило общее замешательство, но потом, должно быть, каждый вдруг почувствовал то же, что и я: стоп, страх прошел. Должно быть, каждый почувствовал, что он имеет право идти к префектуре, что

ященный общественный порядок не был бы нарушен, ли бы не вылазка полицейских.

Твердое сознание правоты своего дела наполняет человека непоколебимой решимостью. Я почувствовал, что мои силы учетверились. Произошла перегруппировка, и жандармы отступили. Этот день мне врезался в память. Я как сейчас вижу адскую свистопляску аспоясавшихся жандармов и наше неудержимое движение вперед, спокойное и прекрасное, как сила природы.

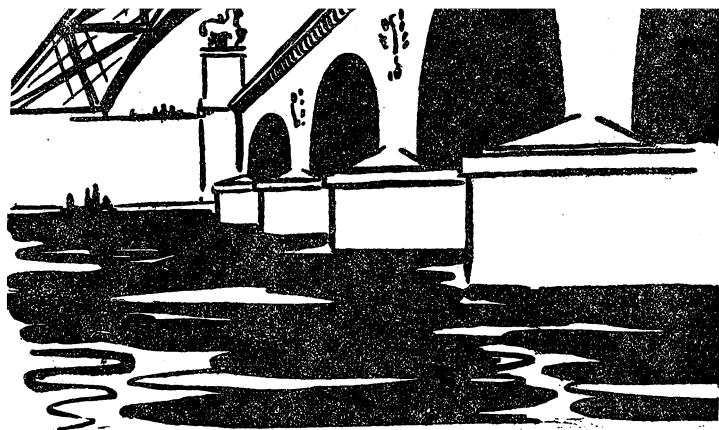
Такие стычки между полицейскими и забастовщиками случались тогда сплошь и рядом. В 1934 году, во время всеобщей забастовки, мой брат как-то раз пришел домой весь в ссадинах и в разорванном в клочья пальте. Впоследствии он принимал все более активное участие в борьбе. Если бы он не держался с такой покойной уверенностью, можно было бы подумать, что он проводит время в хулиганских драках.

Отец был слишком стар, чтобы защищать права трудящихся в уличных схватках. Но он боролся как мог. Вместе с одним каменщиком, итальянцем по фамилии Лотти, воплощавшем в себе лучшие качества мелких ремесленников—добросовестность и честность,—он печатал антифашистские листовки. Старики со всевозможными предосторожностями работали на примитивном печатном станке. Их движения при этом были исполнены важности, как жесты самого Гутенберга, каким его обычно изображают в день легендарного изобретения. Окончив работу, они внимательно рассматривали ее результаты. Потом они обсуждали события, сохраняя олимпийское спокойствие, однако радуясь, что мой брат загорается их общими идеями. Им пришлось употребить весь свой авторитет, чтобы помешать ему отправиться сражаться в Испанию, и убедить его, что и здесь достаточно работы.

Война, все дальше простирая свою власть, лишь усугубила эту атмосферу конспирации, повседневной тревоги и скрытой борьбы. С тех пор как оккупация распространилась на всю Францию, участились облавы. В одну из них попал и я, и в течение шести дней меня держали на вокзале с тем, чтобы отправить в Гер-

манию для отбытия трудовой повинности. Только благодаря безумно смелым и дерзким шагам, предпринятым моей сестрой, мне удалось выпутаться из этой истории. В другой раз меня чуть было не захватила полиция, нагрянув с обыском, когда я преспокойно спал, но мама во-время задернула занавеску, прикрывавшую дверь в мою комнату, и спасла меня этим простым, так сказать, инстинктивным жестом. Отец и г. Лотти попрежнему печатали листовки, прибегая к хитроумным и вместе с тем примитивным предосторожностям, которые каким-то чудом всегда спасают простодушных заговорщиков.

Эти повторяющиеся случаи, когда я подвергался опасности, показались мне предостережением. Настало время исчезнуть. Париж, несомненно, был самым надежным убежищем, где легче всего скрываться, и меня там никто не знал. И потом только там я мог проверить, означают ли мои успехи на поприще певца лишь преходящее увлечение темпераментных южан, или нечто большее. Мне нужно было это знать, нужно было отдать себя на новый суд. Как это ни высокопарно звучит, мною руководило, меня влекло мое призвание...



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Провинциальные честолюбцы мечтают о Париже, как чиновники носятся с мыслью о повышении.

...Когда-нибудь я поеду в Париж, я переберусь в Париж, это необходимо, провинция — всего лишь приходящая, только в Париже можно петь от того, что сердце поет, мы поборемся с тобой, Париж, я нападу

на Париж с чемоданом в руке, я завоюю его, и когда-нибудь моя слава докатится и сюда, и люди скажут: «Смотри-ка, этот паренек добился своего, не сплеховал, выбрался на широкую дорогу...»

Эта мечта о Париже — романтизм, но в феврале 1944 года обстановка не благоприятствовала романтической мечтательности. Влезая в вагон в Марселе, я думал о Париже не как об обетованной земле, а скорее как о лабиринте, полном опасностей, но вместе с тем и спасительных убежищ, как о городе суровых испытаний.

Я чувствовал себя маленьким, неловким, безоружным. И потом я впервые оставлял семью, как бы отправляясь в дальнее плавание, навстречу неизвестности. Не так-то легко покинуть семейную гавань.

...У нас безвыходное положение, надо что-то придумать, так дальше продолжаться не может, дома все бьются и всегда бились как рыба об лед, теперь моя очередь что-нибудь предпринять, моя очередь посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать, под лежащий камень вода не течет, что толку сидеть сложа руки и ждать у моря погоды... Папа пытался выбиться из нужды, папе не повезло, а тут еще эта война, которой конца не видно, брат боролся, чтобы избавить нас всех от этого хождения по мытарствам, теперь слово за мной, они испробовали все, что могли, как им ни было трудно и страшно, они без оглядки бросались в схватку. Жюльену и Лидии, когда мы еще глубже увязли в проклятой нужде, пришлось бросить школу, чтобы помочь семье, хотя они хорошо учились, теперь моя очередь, надо действовать, пора...

Я черпал мужество в образе смельчака, который отправляется в разведку, чтобы вывести своих товарищей из опасного положения. Это придавало моей поездке, которая стала для меня единственной лазейкой, глубокий смысл спасительной миссии.

Уезжая, я немного порисовался, напустив на себя развязность и беспечность — излюбленные подъемные искатели приключений, самое верное средство отвратить враждебность судьбы. Мне казалось, что если я останусь в памяти моих близких улыбающимся

и полным оптимизма, каким они видели меня на площадке вагона в последнюю минуту, когда поезд уже тронулся, они не будут тревожиться обо мне, потому что решительные юноши не так-то легко пропадают в далеких городах, где на каждом шагу расставлены западни.

Путь был долгим. Я смотрел, как за окном вагона разворачивается унылый зимний пейзаж. У меня было такое чувство, будто я мчусь туда, где зима берет свое начало: все явственнее становились ее суровые приметы — иней в Лионе, снег в Маконе, замерзшие пруды в Дижоне. Париж казался мне не столько сердцем страны, сколько угрюмой столицей зимы, и я представлял себя охотником за красным зверем где-нибудь в Аляске, в Сибири или в Гренландии. Я чувствовал себя так, словно собирался петь ковбойские романсы в глухой деревушке, в просторной комнате с огромной, жарко натопленной печью, но не был уверен, понравятся ли здесь эти песни, которые я выучил бог весть где, и не придется ли мне уйти назад по глубоким снегам. Я был певцом юга, солнечного края, и моими друзьями были рабочие в майках, стучавшие молотками по листовой стали, и полуголые докеры, разгружавшие пароходы, мне, быть может, нечего было приезжать сюда, чтобы петь о ковбоях и опереточных гангстерах людям холодного севера, людям, которым туго приходилось: расстрелы заложников, немецкие комендатуры, голод... Быть может, меня ждал провал... Я оставил моих товарищей, которые уходили сражаться с оружием в руках, оставил их потому, что желание петь для народа толкало меня вперед с неудержимой силой и ничто иное в тот момент не могло иметь значения, потому что я предчувствовал, что для меня лучший способ быть с ними — это петь, но для этого пока что мне нужно было ехать одному на север по пустынному царству зимы...

В вагоне не было ни одного знакомого. «Прошу прощения, можно я на минутку, на одну только минутку, открою окно, чтобы проветрить купе? Разрешите, я закурю? Извините, это отвратительные сигареты, но я не могу не курить, я не виноват, что нам дают

такую дрянь, вонючую траву вместо сносного табака, я уж не говорю, хорошего табака, — такие уж у нас порядки... Позвольте, я уступлю вам свое место, присядьте хоть на минутку, да, теперь путешествовать не шуточное дело, не то, что раньше. А детям, детям-то каково в этих неотапливаемых вагонах, счастье еще, что рельсы не лопаются, хороши бы мы были, если бы в такой мороз застряли посреди леса, здесь кругом леса... Просто беда с этими чемоданами, теперь приходится брать в дорогу пропасть багажа, у меня килограммов сто, не меньше, а как все это нести, сил-то, сил-то где взять, скажите на милость, при нашем питании, чтобы ворочать такую тяжесть?..» Кругом были одни только незнакомые пассажиры, на их лицах лежала печать тревоги, и все они прятали свои действительные заботы и опасения за обычными жалобами на дорожные неудобства и на властей. И я тоже ронял пустые, незначащие фразы, чтобы не выдать щемящего чувства тоски и страха, от которого сосало под ложечкой. «Простите, мосье, я закурю, если вы не возражаете. Который час? Мы опаздываем?..»

Я ступил на перрон Лионского вокзала с тем ощущением, какое испытывают, наверное, ранней весной или поздней осенью редкие купальщики, входя в ледяную воду Атлантики, от которой сводит ноги. Меня пробирала дрожь. У меня был тощий чемодан и пять тысяч франков в кармане. Я слишком устал с дороги и был слишком взволнован, чтобы оценить этот исторический момент — мои первые шаги в Париже. Я думал только об одном, мне светило во тьме одно только имя: Гарри Макс, комик, с которым я познакомился, когда мы оба выступали в ревю «Безумный вечер», и который обещал позаботиться обо мне, если я когда-нибудь надумаю приехать в Париж...

Гарри Макс вел себя безупречно. Он заставил меня поужинать с ним и нашел мне гостиницу на Монмартре. Измученные путешественники знают, какое неоценимое благо получить вот так, без всяких мытарств, комнату в незнакомом городе. Неунывающий Гарри Макс передал и мне частицу своего заразительного оптимизма. Признаться, я в этом очень нуждался.

Моя первая ночь в Париже была поистине мелодраматична. Прежде всего ко мне явился немецкий жандарм и потребовал предъявить документы. У меня их, понятно, не было, поскольку я уклонился от трудовой повинности. Хозяин гостиницы, словоохотливый грек, вывел меня из затруднительного положения, вступив в переговоры на каком-то невообразимом жаргоне с этим опасным персонажем в каске и с автоматом, болтавшимся на животе, которые своим устрашающим блеском как бы подчеркивали его непоколебимую волю и неограниченную власть производить дознания. На немца, повидимому, произвели впечатление выразительные жесты грека и весь его вид, внушающий полное доверие, вид человека, который объясняет, в чем дело, просто так, чтобы поговорить, а не для того, чтобы отчитаться.

— Это мой кузен, а, вы не знали, мой кузен, кузен, кузен мой, он приехал в Париж повеселиться, ja, повеселиться, ja wohl, посмотреть Париж. Он мне подсобит, поможет мне, у меня много работы, в таком деле, как у меня, много работы, ja, viel Arbeit, он мне немножко поможет и повеселится в Париже, это сын моей тетушки, ja, он рослый парень, в деревне все рослые, сильные, поля, знаете, свежий воздух, вы тоже сильный, в деревне, я вам скажу, крепкие люди, но он еще мальчишка, ja, ребенок, ein Kind...

Около полуночи я внезапно пробудился от тяжелого сна: ко мне в комнату ворвался какой-то пьяный. Он едва держался на ногах и, ухватившись за дверь, чтобы не упасть, что-то бормотал заплетающимся языком. Он казался каким-то привидением в бледном, скупом освещении, обычном для мансард, словно наверху, под самыми крышами, не только ослабевают напор воды, но и электричество горит не в полный накал.

Он клялся, что это его комната, что он вышвырнет вон свинью, свинячьего сына, борова, который занял его кровать, что это еще одна шутка все тех же грязных свиней, что мы живем в треклятое время, когда что ни день, то новая история, и что с ним еще не было такого, чтобы кто-нибудь разлегся на его кровати. Хотя пьяница был здоровенный, широкоплечий муж-

чина и глаза у него налились кровью от ярости, я решительно вытолкнул его за дверь, обретя силы, которые приходят к человеку лишь в бессознательном состоянии, в каком я и находился, еще не вполне стряхнув с себя сон. Он удалился, держась за стены, и, должно быть, свалился в другой мансарде или каком-нибудь закутке.

Еще через некоторое время я опять проснулся, услышав, что кто-то скребется в мою дверь. Это была совсем молодая девушка, почти девочка, хрупкая и белокурая. Она всхлипывала. Лицо ее было окровавлено и, несмотря на скудное освещение, я смог разглядеть у нее на щеке маленькое озерцо, где смешивались слезы и кровь. Она была не то в пенюаре, не то в накидке — словом, в одном из тех одеяний, будто созданных специально для драмы, которые можно накинуть на плечи, не теряя времени на то, чтобы оправить или застегнуть их, — в одном из развевающихся одеяний ночных трагедий. Не в силах задать вопрос, я помог ей умыться холодной водой. На моем лице, отраженном в зеркале, было написано не меньшее смятение, чем на лице девушки, и у нас обоих был такой вид, будто все это происходит в каком-то тягостном, леденящем кошмаре. Девушка ушла, не сказав ни слова в объяснение. Должно быть, она привыкла обращаться за помощью к первому встречному, когда ее дружок обходился с ней круто. Странный народ живет в этой гостинице, думал я засыпая, и мне нужно следить за собой, чтобы не стать таким же, как эти люди, способные на непонятные поступки... Было очень холодно. Казалось, даже крыша трещит от мороза.

На следующий день я отправился на рекогносцировку. Я знал Париж лишь по почтовым открыткам с классическими видами да по слухам, которые причудливо сочетают традиционные представления провинциалов о прославленных больших городах и росказни, изобилующие всяческими подробностями.

...В Париже есть Эйфелева башня, и если ты туда пойдешь, то в бистро, что на углу улицы Муффтар и какой-то другой — помнится, она спускается под гору, — ты найдешь одного типа, без гроша в кармане,

который может к тебе подойти и сказать, кто ты такой, как тебя зовут, откуда ты приехал; он узнал, например, что я из Марселя, угадал, чем я занимаюсь и сколько у меня денег в бумажнике. Потом ты с ним выпьешь, чтобы доставить ему удовольствие, и дело с концом, больше он на тебя и внимания не обратит. В Париже, знаешь ли, такие бывают истории, что просто ошалеешь, а Эйфелева башня, старина, это тебе не фунт изюму...

Метро со своими пневматическими дверями и путаными переходами, по которым бежали люди, не глядя на указатели, но безошибочно попадая на нужную станцию, произвело на меня сильное впечатление, когда по выходе из вокзала мне пришлось спуститься по бесконечной лестнице и обращаться ко всем и каждому за разъяснениями и подтверждениями. Я решил, что мне прежде всего надо освоиться с этим подземным чудовищем, которое, несомненно, играет огромную роль в жизни Парижа.

Я проехал десятки километров по темным тоннелям, потому что в парижском метро можно колесить целый день с одним билетом, если не переходить определенных границ, которые, впрочем, вполне ясно обозначены. Я старался изо всех сил запомнить более или менее интригующие названия станций, изучить по планам, нарисованным на щитах, все более сложные маршруты, заучить наизусть эти ласкающие слух названия: Аббесс, Пигаль, Сен-Жорж, Барбес, Анвер, Пигаль, Сантье, Бурс, Опера, Шатле, Пон-Неф, Пале-Руайяль. После нескольких часов такой работы метро перестало меня смущать. Оно стало для меня даже другом, работающим животным, огромной гусеницей, которая думает, что превратится в бабочку всякий раз, как выползает из-под земли и с оглушительным грохотом мчится по нескончаемым мостам.

Одифред методически подготовлял почву для моего приезда. Благодаря его хлопотам я получил ангажемент в «А. Б. С.». Там знали понаслышке о моих марсельских успехах и, повидимому, не считали, как я

того боялся, что им не стоит придавать значения. Это было уже кое-что.

В вечер премьеры заработал полным ходом огромный механизм страха. Холодный пот, желание удрать, неуверенные взгляды, которые время от времени робко бросаешь в зеркала, улыбки, которыми обмениваешься с рабочими сцены, знающими, какво артисту перед выходом, наконец время, которое мчится все скорее и скорее, так что за ним не угнаться. В особенности время. Оно летит слишком быстро, это экспресс, с которого падаешь и ломаешь себе ногу, разве его поймать теперь, оно уже далеко, оно на сцене, публика ждет, ты пропал... Мое смятение еще увеличила одна вполне реальная неприятность: Бетти Спелл, выступавшая передо мной в первом отделении, тоже исполняла ковбойские песни, и было уже поздно что-либо изменить.

После Андре Дассари, чей номер был гвоздем программы, я выскочил на сцену.

В тот день, когда мне в лицо брызнул свет лампы и я почувствовал прилив крови, словно меня опалило горячим дыханием, я вспомнил одно впечатление детства. Неподалеку от нас был тоннель, через который проходила двухколейная железная дорога, и мы, мальчишки, придумали восхитительную игру. Мы входили в этот тоннель и направлялись навстречу поездам. С другого конца, пыша парами, как фурия, врвался паровоз. Мы ждали его несколько секунд, потом поворачивались кругом и пускались бежать, преследуемые этим чудовищем, которое мы осмелились дразнить в его логове. Дело касалось товарных поездов, которые шли не очень быстро, и мы, мчась во весь дух, могли выбежать из тоннеля, опередив такой поезд на несколько метров при условии, что правильно рассчитаем в темноте фору, которую нужно взять, на глазок определив расстояние по дрожащим фонарям паровоза. Эта бешеная погоня, от которой приходилось убежать по шпалам, подчас скользким от мазута, этот свирепый зверь, что приближался, пыхтя, это чувство ужаса, когда сердце, кажется, готово выскочить из груди, были для нас элементами критической ситуации,

в которой мы искали сильных ощущений. Выбежав из тоннеля, откуда за нами по пятам вырывался паровоз, мы, задыхаясь, бросались на насыпь, в серую от пыли траву. И тогда мы могли видеть высунувшиеся из будки головы машиниста и кочегара, кричавших что-то вне себя от гнева. Было восхитительно знать, что паровоз глупейшим образом промчится мимо нас по рельсам, к которым он прикован, унося с собой химерические головы своих слуг, восхитительно сознавать, что ты только что был на волосок от смерти и вот уже тебе ничто не угрожает...

В «А. Б. С.» мне тоже пришлось испытать такое чувство, точно я должен был бежать во весь дух, чтобы не попасть под поезд. Исполняя свои песни, я увидел, что многие встают и покидают зал. Я лез из кожи вон, чтобы удержать, по крайней мере, остальных. Они остались, и после моего выступления долго не смолкали аплодисменты и крики «браво». Потом мне объяснили, что зрители, поторопившиеся уйти, были просто осторожные люди, которые боялись опоздать на метро и бродить по улицам после комендантского часа в тщетной надежде найти ночлег.

Во время этого первого парижского ангажемента я допустил погрешность против хорошего вкуса, которую отметил один зритель. Полагая, что здесь нужно быть немного элегантнее, я опять начал выступать в броской клетчатой куртке, которая в свое время не понравилась марсельцам. Из глубины зала кто-то во весь голос крикнул: «Зуав!» Это метко брошенное словцо обожгло меня, и с тех пор я пел в коричневых брюках и рубашке. Я даже отказался от галстука. Открытый ворот, свободная жестикуляция — таков был мой стиль. Его нужно было только отделать. Но мелкие детали в таких случаях прибавляются лишь постепенно.

В то время, когда я делал свои первые шаги под эгидой Леденца, я и не подозревал, что совершенствование в чем бы то ни было подчинено законам осторожности и меры. Я верил скорее во внезапные озарения, в счастливые находки, сделанные по наитию. Леденец не принадлежал к числу людей, склонных к терпе-

ливой и упорной работе, а скорее верил в легенду о том, что художник всем обязан вдохновению, которое пощещает его время от времени.

После трех или четырех выступлений, равным образом сопровождавшихся бурными аплодисментами, я послал родителям восторженное письмо, звучащее, как победная реляция. Они ответили, не скрывая гордости за меня, сквозившей в их советах сохранять благоразумие и осмотрительность.

Я должен был организовать свою жизнь, рассчитать свой бюджет, ближе познакомиться с Парижем, отрешиться от излишней доверчивости, чтобы оградить себя от неприятных сюрпризов; разучивать новые песни, говорить с людьми, хорошо или плохо расположенными ко мне, стараться попрежнему быть в полной форме в смысле физического состояния, несмотря на всякого рода трудности, связанные с питанием, находить друзей, присматриваться к тому, что происходит вокруг меня, и изо всего извлекать спасительную мораль.

На первом этаже гостиницы находился маленький холл, в котором какие-то господа с явной сноровкой и нарочитой небрежностью играли в кости и в карты. Они походили на марсельских игроков в белот. Впрочем, они занимались той же доходной профессией — рациональной эксплуатацией женских чар.

Однажды они любезно пригласили меня присоединиться к ним — таким же, как и я, дилетантам в карточной игре. Я всегда был чувствителен к знакам дружеского внимания и не смог отказаться.

Игра была азартная. Пачки стофранковых бумажек переходили из рук в руки по прихоти королей и тузов. Горячительные напитки, обжигавшие небо, а потом и нутро, тоже ходили по кругу. Мои партнеры проигрывали, как вельможи, с неизменно приветливыми улыбками. Вернувшись к себе в комнату, я подсчитал свой выигрыш: четырнадцать тысяч франков. Это было целое состояние, и я приобрел его развлекаясь.

Мне снились блаженные сны. Я сидел с сигарой в зубах. В комнате сновали пиковые и червонные ко-

роли, принося мне на подносах кипы банкнот и золотые экю. Я пускал им в лицо дым, и они покорно терпели эти оскорбления, едва осмеливаясь моргать. Они приносили мне также сундуки с наваленными в беспорядке ботинками, шляпами, костюмами и часами моих партнеров, которые, смущенные и озабоченные, крадучись пробирались в свои комнаты, чтобы их не увидели по моей милости в одном белье, подобно неудачникам из водевилей. Я проснулся в превосходном настроении.

Вечером, когда я, попрежнему веселый, как дрозд, вернулся в гостиницу, те же джентльмены опять пригласили меня играть. Я увидел в этом широкий жест, доказывающий, что они не затаили на меня злобы за то, что я их обчистил.

На этот раз игра была ужасная. Я потерял тридцать четыре тысячи, которых у меня не было. Я дал слово этим господам, что выплачу им долг в ближайшее время. Они все так же мило улыбались. Что касается моей улыбки, то на этот счет я не строил себе иллюзий. В ней ясно читались досада и гнев, — ведь меня обвели вокруг пальца как последнего дурака.

В эту ночь я заснул не так быстро, как накануне. И ко мне уже не приходили короли с сокровищами на подносах. Я мысленно видел моего отца. Я слышал его простые и веские слова, его беседы с друзьями, касавшиеся величия труда, обязанности каждого честного человека относиться к нему с глубоким уважением и заслуженных ударов судьбы, которых следует ожидать, если выбираешь легкий путь, полагаясь на счастливый случай. Мне было очень стыдно. Проиграть за один вечер такую сумму, какую трудящиеся зарабатывают за несколько месяцев, значило в моих глазах предать их дело.

С тех пор, подвергшись столь болезненной прививке, я приобрел своего рода иммунитет и больше не давал себя соблазнить азартными играми, если не считать безобидных партий в покер с друзьями, когда проигрыш каждого имеет не больше значения, чем фанты, которые дети назначают друг другу.

После нескольких ангажементов в Болье, Фоли-Бельвиль, Бобино я должен был выступить в Мулен-Руж.

На этот раз мне предстоял серьезный экзамен. В афишах на первом месте стояло имя Эдит Пиаф, которая пользовалась бешеным успехом, а вслед за ним — мое. Я чувствовал, что подхожу к поворотному пункту моей карьеры, который может оказаться для меня роковым. У Эдит Пиаф золотое сердце: чтобы понять это, достаточно послушать, как она поет. Но она страшно требовательна во всем, что касается мастерства. То обстоятельство, что я из Марселя, не располагало ее в мою пользу. Она, не таясь, заявила, что считает меня, пока не убедилась в обратном, образом вульгарности и дешевки, горлопаном, с которым чересчур носилась публика «Алькасара» и который, наверное, воображает себя бог весть кем на том основании, что он понравился своим землякам. Она согласилась, однако, выступить со мной в одной программе, если я смею ей доказать противное.

Одифред передал мне эти слова прославленной певицы. Я отметил прежде всего ее антипатию к марсельским вкусам. Я поддался некоторой досаде на эту даму, которая судила обо мне на расстоянии, еще ничего не слышав, бессознательно защищая узкие местные интересы. Я забыл, что когда-то, еще даже не став актером, я высказывал столь же определенные, столь же категорические суждения, которые к тому же, в отличие от мнений Эдит Пиаф, не опирались на личный успех и неоспоримую компетентность.

Однако капризничать не приходилось, и я сделал все, чтобы усовершенствоваться в течение тех нескольких дней, которые оставались у меня до прослушивания. Эдит не любила марсельский говор, следовательно, я должен был избавиться от моего акцента. Мне не раз приводили в пример пращура Демосфена, который покончил со своим заиканием, упражняясь в ораторском искусстве с камушками во рту. Я поступил, как он. Я пел в своей комнате, пока у меня не пересыхало горло, зажав в зубах карандаш

или сигарету. Я добился ободряющих результатов. Когда мне пришлось петь перед Эдит Пиаф в зале Мулен-Руж, я извдал особенно жестокий страх. Как я себя ни уговаривал, а эта тщедушная зрительница, внимательная и бесстрастная, затерявшаяся среди пустых кресел, производила на меня большее впечатление, чем триста человек, шумных и нетерпеливых. Чтобы взять себя в руки, мне понадобилась вся моя мужская гордость: не мог же я все-таки спастись перед женщиной.

Я начал петь. Я исполнил четыре песни. На последней я совершенно забыл об Эдит. Я увидел, как она вышла из темноты и направилась к сцене. Она остановилась у самой рампы. Она сказала мне просто, что находит меня замечательным артистом, что я потрясающе пел и что она безумно рада, что мы будем выступать в одной программе. Она стояла, слегка запрокинув голову, и в ярком освещении сцены ее лицо, обращенное ко мне, вырисовывалось со скульптурной четкостью. Она говорила искренне. Она предсказала мне успех, большую удачу. Глядя на нее, я не сомневался, что это пророчество, исходившее из уст особы, столь явно вдохновленной свыше, не может не оправдаться с полной точностью...

Я в самом деле имел большой успех. Две недели я пел в Мулен-Руж, и это были прекрасные, безоблачные дни.

Пророчица не ограничилась тем, что предсказала мне блестящее будущее. Она дала мне советы. Мне следовало освободиться от своего подчеркнутого американизма, не останавливаться на типах флегматичного гангстера, ковбоя или продавца сосисок в Централ-Парке, в которых широкая публика могла видеть лишь символическое изображение освободителей, которые стремительно приближались. Сначала я принял эти советы свысока, думая, что они продиктованы какой-то низменной завистью. Потом я их понял и отдал себе отчет в их обоснованности. В конечном счете то, что мне говорила Эдит, почти совпадало с моими мыслями о певцах, появляющихся неизвестно откуда и выражающих смутные чаяния тех

людей, которые стучат молотками по листовой стали, разгружают парходы, копают землю, живут в серых, унылых домах и которые должны бороться плечо к плечу, чтобы не погибнуть.

Жан Гиго и Анри Конте написали мне тогда песни «Баттлинг Джое», «Луна-Парк» и «Полосатый жилет», которые неприметно отклонялись от прежнего жанра, однако в основном не меняли характера репертуара. Я только начинал создавать себе имя, и это был неподходящий момент для крутого поворота. Я интуитивно понимал, что публику нужно вести за собой, что она нуждается в этом, но что ей нельзя грубо навязывать иные вкусы, если не хочешь, чтобы она встала на дыбы. Тут опять дело касалось сложных взаимоотношений, в которых подчас нелегко разобратся и которыми можно управлять, лишь действуя крайне осторожно. Публика — это динамит.

Надо полагать, я все-таки слишком резко переменял направление, потому что новый репертуар был встречен весьма сдержанно. Во время турне по югу я столкнулся чуть ли не с равнодушием. Лион был разочарован. Марсель брюзжал. Те, кто меня выдвинул, просто не узнавали меня. Но я научился упорству. Я не хотел отступить от моих новых песен. Я не сдался. Фестиваль песен в театре «Этуаль» в 1945 году доказал мою правоту. Здесь я тоже выступал вместе с Эдит Пиаф, чьи песни были главным номером программы...

Я не пишу исповеди. Я не публикую свой дневник. Мне нечего поэтому оправдываться, в особенности перед самим собой. Душевные движения, подвергшись скрупулезному анализу, сохраняют кредит лишь в психологических романах. Когда речь идет о действительно пережитом прошлом, они оставляют странное впечатление протокольной записи.

Общая работа, одинаковое происхождение, лихорадочное время свели наши пути, и до новой развилки мы вместе шли по дороге, терявшейся вдали. Дорога эта была не всегда легкая и ровная. Эдит оставила меня, когда почувствовала то смутное беспокойство, которое выпадает в удел требовательным

натурам и которое толкает их на преждевременный разрыв. Но лучше ускорить развязку и страдать от этого, чем расстаться с чувством облегчения.

Когда забил набат освобождения, хоть я и был парижанином без году неделю, я почувствовал, что город расцвел. Я понял, что люблю его и что он перестал быть распятой столицей, в суровом молчании принимающей свою участь, весь трагизм которой я не раз имел случай измерить. Париж снова обрел свою молодость.

Как и у многих, у меня, словно по волшебству, оказалась винтовка в руках и патроны в кармане. Меня поставили на пост у Французского театра, возле Лувра. Там я и стоял, перемигиваясь с Мюссе и его музой. Мне не пришлось пустить в ход свою винтовку: боши дали тягу. На этот раз я был полон уверенности в себе, и будущее рисовалось мне в розовом свете.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После тяжких и прекрасных дней августа 1944 года, года великих свершений, завоеванных долгой, суровой борьбой, казалось, наступила новая эпоха, новое летоисчисление, новая жизнь.

Мы страдали в течение ряда лет, мы познали на опыте силу прекрасного братства заговорщиков, мы

сбросили с себя отрепья эгоизма. Миллионы людей, воспрянув духом, как это бывает всегда после пережитой опасности, торжественно поклялись, что не допустят больше гекатомб и порабощения. Вся планета, истерзанная как никогда, оправлялась после тяжелой болезни. Нарыв, наконец, прорвался, и казалось, что дальше все пойдет идеально. Война откатилась к Рейну, туда, откуда она нагрянула пять лет назад. На Востоке творились чудеса.

Подобные исключительные эпохи преображают людей и втягивают их в стремительный круговорот событий. Повидимому, и для меня кончился трудный период поисков. Я не был настолько самонадеян, чтобы думать, будто достиг совершенства, но я нашел себя и сумел занять свое место в мыслях и сердцах публики. В меня поверили. Мой путь был ясен и прям. Мне оставалось только итти от вехи к вехе, стараясь не сбиться с дороги. Но это уж зависело только от меня. Мое поприще было определено. Нужно было только работать и двигаться вперед.

Но жизненные перипетии так похожи на дальние плавания, что порою хочется оглянуться на пройденный путь. В те памятные дни осени 1944 года, бродя по улицам ожившего Парижа, я подводил первые общие итоги моей артистической деятельности. Они были обнадеживающими.

«Ты неплохо выкрутился, — думал я, — тебе повезло! Ты гонялся за счастьем, и оно от тебя не ускользнуло. Ты славно дрался, ты не увяз в болоте. Ты мог до сих пор топтаться на месте со своим Леденцом или даже здесь, в Париже, свернуть себе шею, — мало ли таких неудачников! Ты стал артистом, ты можешь читать газеты, где пишут про тебя. А что надо было сделать в квартале Кабюсель, чтобы о тебе написали в газетах? Разве что попасть под грузовик или заболеть какой-нибудь невиданной болезнью. А на улице Павийон? По меньшей мере получить, выходя из бара, пулю в лоб — кусочек свинца величиной с ноготок хорошенькой женщины!

А ведь в самом начале ничто тебе не благоприятствовало и ни одна гадалка в мире не решилась бы пред-

сказать тебе удачу и счастье. Гадалки в лучшем случае напророчили бы тебе необычайные любовные похождения, но ни одна из них не поставила бы ставку на тебя: гадалки ничего не понимают в таких вещах, они не имеют ни малейшего представления ни о бесчисленных сцеплениях обстоятельств, ни об изобретательности судьбы.

Я мог свернуть себе шею, я бы пропал, если бы Париж меня отверг, если бы Париж сказал мне: «Ступай, откуда пришел! Мне не нравятся твои песни!» — я собрал бы свои пожитки, я вернулся бы домой, и отец встретил бы меня таким взглядом, в котором в одну секунду можно прочесть всю мудрость, накопленную за тысячи дней жизни. Мне пришлось бы продолжать мои жалкие гастроли, пережевывая горечь неудачи, а впереди не было бы ничего, ничего...»

Приятно было сознавать, что теперь со мною заключают контракты, что на афишах стоит мое имя, что люди говорят: «О, его надо послушать! Он создан для того, чтобы петь!.. Представь, он совсем такой же, как мы, ты сам увидишь, но как он поет!..»

Радостное предвкушение близкого мира как бы отодвинуло на задний план заботы и мысли, которые преследовали меня в те времена, когда я стучал молотом по стальным листам и работал на набережных. С социальной несправедливостью будет покончено, думал я, рабочие, наконец, узнают лучшие дни, а полицейские отныне будут нужны только для невинных парадов, станут безвредными большими оловянными солдатиками. Правда и справедливость восторжествуют.

В ту пору я еще недостаточно хорошо разбирался в политических вопросах. Когда я был металлистом, а позднее докером, я познал на собственном опыте, что такое братство рабочих и солидарность масс. Участвуя в митингах, забастовках, манифестациях, страдая от безработицы, я чувствовал себя целиком захваченным жизнью людей, стремящихся к единой цели. Но когда я стал певцом, этот контакт нарушился. Я смутно чувствовал, что между мною и теми, кто продолжал рабо-

тать и бороться, нет преград, но это было лишь расплывчатое ощущение какой-то неосознанной связи. Я знал, что был для них в некотором роде глашатаем, подобно приходившим в сумерках цыганам, чьи песни и танцы возрождали надежду в нищенских кварталах. И я поставил себе задачу быть достойным их. Но тогда я еще не понимал всего значения такой связи с народом. Раньше она обуславливалась просто чувством симпатии, тогда как теперь она упрочена осознанием непреложного хода истории. Веления сердца соединились с ясностью убеждений.

В конце 1944 года, более чем когда бы то ни было полный решимости не идти по линии наименьшего сопротивления, я снова изменил свой репертуар. Я прислушивался к критике. Постепенно я искал свой сценический облик: я хотел, чтобы он был непосредственным, динамичным, воодушевляющим. Я исполнял мажорные песни, в которых звучала любовь к жизни и ничем не сдерживаемая радость. Мне пока еще не доставало оттенка мягкой серьезности, которую я вложил в эти песни впоследствии, и твердой решимости всегда отвечать запросам народных масс.

Как раз в это время меня пригласили сниматься в кино. Я мог только поздравить себя с такой удачей.

Я выступал тогда в «Клубе пяти», на улице Мон-мартр. Однажды вечером ко мне в актерскую уборную пришли Марсель Карнэ и Жак Превер и объяснили мне в нескольких словах, чего они от меня хотят. Они собирались снимать фильм «Двери в ночь», в котором главные роли должны были исполнять Марлен Дитрих и Жан Габен. В последний момент, по личным причинам, Дитрих и Габен отказались сниматься. Карнэ и Превер решили пойти на риск и создать фильм силами совершенно неизвестных актеров. Они только что слушали и видели меня на сцене и предложили мне роль, которую должен был играть Габен.

Я долго не мог привыкнуть к свалившемуся на меня огромному грузу счастья.

Итак, я буду дебютировать в первоклассной картине! Мое случайное участие в фильме «Звезда, которая не светит», где я довольно плохо играл небольшую роль,

можно было не принимать в расчет. На этот раз я постараюсь перевоплотиться в образ, предназначенный для одного из лучших французских актеров. Я радовался, как в детстве, когда верил, будто волшебники могут нежданно-негаданно появляться даже в самых обездоленных домах, раздавать подарки и сразу все изменять к лучшему. Мне было всего двадцать четыре года, а в этом возрасте еще позволительно верить в сказки. Глаза этих двух людей, — одного толстого и добродушного, другого молчаливого и сдержанно-дружелюбного, — весело блестели. Мне показалось, что они-то и есть эти самые волшебники.

Я вспоминал то время, когда экономил на трамвайных билетах, чтобы посмотреть ковбоев и Фреда Астера в волшебном зале кино «Стар». Я долго ждал, у меня был извилистый и нелегкий путь, но теперь, наконец, я буду сниматься сам. После стольких испытаний и гримас судьбы! Разве это не чудо?

Однако осторожность, которую выработала во мне карьера певца, подсказывала более здравые соображения. Браться за роль, предназначенную для такого известного актера, было небезопасно. Зрители неизбежно будут разочарованы. Они не участвуют в распределении ролей и не знают всей этой кухни, но они прекрасно чувствуют, что роли иной раз распределяются не по заслугам. Я рисковал тем положением, которое завоевал как певец, и опасался показаться смешным или нахальным.

Сценарий, который я прочел, был прекрасным — одновременно поэтичным и реалистическим. Он не имел ничего общего с тем, что меня восторгало в кино раньше, и Фреду Астеру и ковбоям здесь было бы нечего делать. Этот сценарий имел весьма отдаленное отношение к моему песенному репертуару; связь между тем и другим я по-настоящему улавливаю лишь сейчас: их объединяет одно — любовь к человеку. В сценарии были две песенки: «Опавшие листья» и «Дети, которые любят друг друга». Эти песенки сильно отличались от тех, которые создали мне успех и составляли мой репертуар. Тем не менее я полюбил их от души. Такие резкие перемены во вкусах случаются часто и по раз-

ным причинам. Они похожи на озарения, на интуитивные открытия.

Я не испугался риска. Случай был слишком заманчивым, к тому же до сих пор самые смелые предприятия оканчивались для меня успешно. Кроме того, картину ставил замечательный кинорежиссер. Мне оставалось только следовать его руководству и довериться ему целиком.

Фантастическая кухня кинематографа была мне до сих пор абсолютно неизвестна. Моя нога ни разу еще не ступала на съемочную площадку. Я знал о кинематографе только по книгам и по рассказам актеров. У меня создалось впечатление, что кино — это ошеломляющий мир, одновременно грандиозный и смешной, и что законы, которые управляют обыкновенной жизнью, теряют свою силу в киностудии. Мне казалось, что я подготовлен ко всем неожиданностям.

Но в первый же момент я был совершенно сбит с толку и почувствовал, что теряю почву под ногами. Я действительно попал в странный мир, который могли бы изобразить на своих полотнах лишь художники с большой фантазией, и чувствовал себя беспомощным, как новорожденный, потерянным, как дикарь, который из девственных лесов внезапно перенесся на площадь Согласия, или как нормальный человек, очутившийся вдруг среди буйных сумасшедших.

Я должен был что-то делать, двигаться, и все это с величайшей точностью, сохраняя притом полную непосредственность. Я должен был обращать внимание на тысячи важных, но непонятных для меня мелочей и произносить слова, полные глубокого смысла. Я должен был мгновенно переходить от черной меланхолии к безудержному веселью. Я должен был сперва играть конец сцены, а потом уж ее начало. Я должен был жить словно разрезанный на куски.

Я думаю, что еще задолго до изобретения кинематографа люди уже видели киностудии — в бредовых снах. Вся эта суетня, бутафорские декорации, команды, бесчисленные правила и условности подавляют человека, который находится в центре свистопляски.

Это действительно похоже на кошмарный сон, где странные, беспокойные видения терзают спящего.

Я превратился в лунатика. Единственная моя надежда была на то, что все мои неестественные движения и неестественные порывы будут преображены кинокамерой — этой одноглазой волшебницей. Наверно, то же ощущение испытывают наполовину усыпленные больные в операционном зале: лишь абсолютная вера в искусство хирурга — тончайшая нить Ариадны в непроглядном тумане — поддерживает в них надежду, что они не умрут.

После каждой сцены я чувствовал себя как после хорошей головоломки. Но никто, повидимому, этого не замечал. Иногда слышался чей-нибудь голос: «Помоему, неплохо!..»

Я не мог судить, в какой из пробных сцен я играл лучше всего. Вообразите себе стрелка, который целится в невидимую мишень и посылает свои пули наугад, а чей-то голос констатирует: «Попал» или «Не попал!» Слышен только голос, мишень остается невидимой, но попасть все-таки надо. Представьте же себе, каково стрелку, для которого попасть в цель — вопрос жизни и смерти!

По вечерам я присутствовал на просмотрах сцен, снятых днем. Это были незначительные кусочки, обрывки, похожие на бессмысленный пасьянс. Я уходил в полнейшем отчаянии. Мне не терпелось снова появиться на подмостках, чтобы петь перед живыми людьми, чтобы расстаться, наконец, с этой непостижимой механикой. И вместе с тем мне хотелось поскорей увидеть результаты моей работы: я утешался тем, что был новичком, а первые шаги в любой профессии всегда бывают неуверенными.

Фильм провалился. Он этого не заслуживал, и когда я теперь смотрю его снова, то вижу, что даже основная ошибка, состоявшая в том, что в нем снимались не те, для кого он предназначался, — во всяком случае, это касалось исполнителей заглавных ролей, — не может заслонить его достоинств. Само собой разумеется, я не мог сравниться с Габеном, а Натали Натье с Марлен Дитрих. Но, например, Серж Реджиани

был превосходен, так же как и Брассер, Бюссьер, Каретт и Сатурнен Фабр. Некоторые кадры были просто великолепны.

Те, кто способствовал провалу этой картины, не всегда действовали честно. Они придирались к Карнэ, потому что он велел построить станцию метро в ателье, тогда как дешевле было бы производить съемки на месте, в Барбес. Так говорили люди, ничего не понимающие в специфике кино и думающие лишь о том, во сколько обходится картина. И потом нельзя же было остановить работу метро из-за съемок! Меня упрекали за то, что я возомнил себя Габеном, Натали Натье за то, что она подражала Марлен. Нашей неопытностью воспользовались, чтобы замазать достоинства этой картины, ее внутреннюю поэтичность и очарование. Находились люди, которые радовались тому, что картина «Двери в ночь» быстро сошла с экранов, потому что она стояла перед ними, как упрек, напоминая об их гнусностях в черные годы оккупации.

Неудача картины отразилась и на моей судьбе. Поскольку не было Габена и кому-то нужно было занять его место, меня слишком разрекламировали. Критики заранее расточали похвалы моему мастерству, в котором я же первый сомневался. Распускали слухи, что мой дебют в кино должен произвести сенсацию, что я прирожденный киноактер и что в этой роли я буду не хуже, чем в роли певца. Потом публика, конечно, разочаровалась и, несправедливо обвиняя меня в нескромности, взвалила на меня всю ответственность за провал. Меня решили наказать за самомнение, поставить на место как выскочку, который захотел взобраться на вершину славы, несмотря на то, что был всего лишь неопытным учеником! Большинство критиков сходилась в этих не лишенных основания, но немного поспешных выводах. Резкость их суждений и несправедливость обвинений довели меня до отчаяния.

Я ничем не заслужил, чтобы со мной так обращались. Я пел мои песенки, ко мне пришли и пригласили меня сниматься. Конечно, я должен был бы отказаться, сказать, что я умею только петь, что мне нужно сначала поучиться, а не забираться сразу слишком высоко, что

я еще молод, что здесь слишком много риска, что я провалюсь, запутаюсь в их механике и что все это не так просто... Но я с детства мечтал о кино, об этой необыкновенной стране, в которую попадаешь чудом, о мире, где нет преграды между публикой и экраном и где мечты так просто сбываются. Как легко было в пятнадцать лет перескакивать из зала прямо на экран! Нет, я не мог быть благоразумным. Кто может отречься от мечты, которая его преследовала с детства и которая осуществляется так внезапно, словно вам на долю выпал царский подарок, словно у вас на глазах воплотился в реальность мираж?

Моя настойчивость положила конец этим горьким размышлениям. Я снимался в «Идоле» и в короткометражной картине «Утраченные воспоминания». Я старался силой пробиться вперед, упорствовал, не разрешал себе отступить. Я воображал, будто нахожусь на сцене перед публикой, перед живыми людьми.

Я твердил себе: «Они ошибаются. Я прав, и я это знаю. В конце концов они тоже придут к этому заключению, потому что я прав. Я должен выкрутиться, я должен бороться, я должен настаивать и не поддаваться. Публика — это сила, но иногда публика не сразу во всем разбирается. Она тоже может ошибаться и быть ослепленной по неизвестным причинам; публика — великолепный материал, но его надо обрабатывать. Неужели я спасую только потому, что столкнулся с задачей, требующей немного больше усилий? Неужели я испугаюсь работы и трудностей? Неужели я все брошу, если какая-то кучка критиков на меня нападет? Неужели я проделал весь этот путь, чтобы теперь остановиться? Разве я мог думать, что упорный труд остался уже позади и что дальше все пойдет само собой?»

Но я не знал, что существует огромная разница между зрителями, которые смотрят на тебя самого, и теми, кто видит лишь твое изображение. Я не понимал разницы, которая существует между живыми актерами и привидениями кино. Это была непоправимая ошибка.

Кроме того, я сделал еще одну глупость. Я вбил себе в голову идею предложить на радио такие песен-

ки, как «Баттлинг Джое» и «Полосатый жилет», не поняв, что они гораздо более уместны где-нибудь в мюзик-холле, где мимика исполнителя и мизансцена придают им их истинную ценность. Это был настоящий провал. Гастроли в провинции с недостаточно подготовленными песнями меня окончательно доконали. Я был в полном смысле слова нокаутирован, и на это потребовалось гораздо меньше времени, чем нужно было для моего продвижения.

Каждая карьера неизбежно имеет свои взлеты и свои падения. Эта истина действует успокаивающе на того, кто давно выступает на сцене. Теперь-то я уже знаю причины моего ошеломительного срыва: дезориентированный неудачей в кино, я потерял самообладание и чересчур поспешно пытался взять реванш. Я погрешил против правила: никогда не предпочитать импровизацию работе. Но в 1946—1947 годах я не мог видеть, как увидел впоследствии — отчетливо, ясно, словно через увеличительное стекло, — в чем же именно причины катастрофы, которую логически я объяснить не мог.

...Я свернул себе шею, я сел в лужу, я свое получил. Они меня угробили. Я не знаю, кто они, эти люди, которые просто так, ради удовольствия, спускают с лестницы парней вроде меня. Ты поднимаешься по лестнице, ты чувствуешь себя выжатым как лимон, ты проводишь платком по лбу, но у тебя не осталось ни капельки пота, ты стал сухим и ломким. И вот какой-то тип поджидает тебя наверху: пинок — и ты летишь вниз, считаешь ступеньки задом, разваливаешься на куски — там нога, тут рука — и скатываешься на землю безруким и безногим обрубком. Ты спрашиваешь себя: «По какому праву тот тип находится наверху? Что он сделал для этого? Разве он поднимался по лестнице, поливая потом каждую ступеньку?»

Мой отец это тоже испытал. На вершине его лестницы находился дядюшка-фашист в своих великолепных сапогах. И он столкнул отца вниз. Но отец снова начал карабкаться вверх: он принялся за половые щетки, те самые, на которых он потом обанкротился.

Проклятые щетки! Из-за них-то он и скатился опять на самую нижнюю ступеньку, и ему даже некого было винить, а от этого совсем опускаются руки. Он решил, что лучше покончить с собой, чем снова подниматься по этой дьявольской лестнице... По примеру отца, я тоже начал взбираться, и на первых порах мне нельзя было жаловаться: лестница была прекрасная. Но почему никогда не попадается лестничных площадок, где можно остановиться и сказать себе: «Довольно! Я достаточно карабкался и потел. Пора остановиться. Здесь можно жить, здесь есть чем дышать!» Таких площадок не попадается: стоит только остановиться и обернуться назад, как ты уже не видишь ничего из того, что ты сделал, и тебе кажется, что ты не поднялся ни на иоту, что позади ровное место и, значит, нужно во что бы то ни стало карабкаться вверх. Но я оступился, и в ту же минуту все ступеньки, по которым я взбирался наверх, напомнили о себе, острые, как топоры, и мне пришлось их пересчитать боками, коленями, задом, ломая кости и расшибаясь в кровь. И вот я снова в самом низу и даже не различаю того места, откуда сорвался.

Но как же другие? Ведь столько людей падает вниз! О чем они думают, чем ободряют себя, что они делают, чтобы вновь подняться и залечить раны? Мой отец дважды срывался и не впал в отчаяние. А я еще молод. Но что же все-таки говорят себе в таких случаях другие? В чем они черпают силы и мужество?

Мое сумбурное детство не приучило меня размышлять. У меня не было любимого писателя, у которого я мог бы черпать наставления. Драться, изводить девочек, улепетывать от взбешенных лоточников, бегать и прыгать, кричать, хныкать — вот и все, чему я научился, предоставленный самому себе. Я не умел проникать в истинное положение вещей, крошечное за обманчивой видимостью. Действие, чреватое явными опасностями, но сулящее неожиданные трофеи, соблазняло меня гораздо больше, чем ухищрения рассудка и его выводы, всегда подлежащие пересмотру, которые я ни во что не ставил. После моего провала я чувствовал себя так, словно оказался в лабиринте, наполнен-

ном ядовитыми газами, или под обломками сооружения, которое я не позаботился своевременно укрепить. И тем не менее я был вынужден терпеливо обдумать случившееся, потому что убедился, что предпринимаемые наудачу шаги, лихорадочная суетливость и попытки прошибить лбом стену не приносят ощутимых результатов.

Все произошло из-за того, что я взялся за роль из «Дверей в ночь». Я должен был играть роль человека лет сорока, в полном расцвете сил. Совершенно очевидно, что мне было не под силу передать психологию и поведение человека, богатого житейским опытом. Но времени, чтобы изменить текст, уже не было, а я не успел в него вжиться. Никто меня никогда не учил, как справляться с диалогами: я никогда не заучивал отрывков из классического репертуара, на которых те, кто обучается драматическому искусству, шлифуют свое мастерство. Принимаясь за роль, я был просто обманут кажущейся легкостью, что уже не раз подводило меня с того времени, как я дебютировал на шатких подмостках Леденца. Провал в фильме «Двери в ночь» был для меня таким же холодным душем, как и тот, которым меня когда-то окатила аккомпанировавшая мне старая дама перед моим первым выступлением. Но я уже не мог больше оправдываться неведением. Я был слишком легкомыслен. Я недооценил всемогущее значение работы и глупо поверил, что одарен бог весть каким талантом, который без всякой подготовки принесет свои плоды. В сущности, я заслужил этот урок.

Я говорил себе: «Надо быть естественным, и этого вполне достаточно. Ты ходишь, ты говоришь, ты зажигаешь папиросу. Перед тобой объектив киноаппарата, но ты ведешь себя так, как будто его нет, не обращаешь на него внимания. Ты выучиваешь две-три реплики, ты делаешь то, чего от тебя требуют, не заботясь об объективе».

Я говорил себе, что это, должно быть, совсем просто и что делать «как будто» — самая обычная вещь. Ведь все говорят: «Держись с ним так, как будто ты ничего не знаешь», «Располагайтесь без стеснения, как

будто меня здесь нет», «Ведите себя так, как будто ничего не произошло»...

Мне бы нужно было вспомнить тогда о любительских фотографиях, о черных коробках, которые щелкают по воскресеньям перед садиками, развалинами или перед группой подростков, принимающих первое причастие. «Не двигайтесь! Считаю: раз, два, три! Не двигайтесь!» И в результате ни одному из сотни снимающихся не удается сохранить непринужденный вид перед маленькой птичкой, которая выскакивает из аппарата.

После такого подведения итогов, когда я себя не щадил, нужно было приниматься за работу и двигаться вперед. А я занимался пустяками, вел по телефону бесконечные разговоры по поводу контрактов и ангажементов, терял время и топтался на месте, без конца повторяя: так мне и надо, я сам виноват. Надо было сначала поучиться, попробовать, потренироваться. Не надо было идти на риск. Нужно было оставаться певцом, только певцом: разучивать новые песни, выработать свой собственный стиль и не давать заманить себя в проклятое кино. Лучше было бы сказать: «Мне еще нужно время, подождите, пока я подучусь, я посмотрю, возможно ли это», а не быть выскочкой...

Поразмыслив, я понял, что мое настроение совершенно естественно. Конечно, этот провал меня подкосил, но и любой другой дебютант был бы выбит из седла при таких обстоятельствах. Моя неудача не закрывала передо мною будущего. Она не была моей конечной остановкой. Она не означала, что двери кино закрылись для меня навсегда. Она была лишь предупреждением, заслуженной нахлобучкой. И нечего все валить на невезение или на чьи-то происки!

Правильнее всего было дожидаться более благоприятного случая и после зрелого размышления попробовать еще раз.

В неудаче с новыми песнями мне было труднее разобратся. Я не понимал хорошенько, что могло смутить публику и восстановить ее против меня.

Здесь нельзя было ссылаться на недоброжелательность критиков, которые забавляются тем, что громят

и хулят ради красного словца. Сердилась публика, а ее в недоброжелательности заподозрить нельзя. На концертах, в этой битве между зрителем и артистом, первый всегда искренен, тогда как второй иногда только ловок. Я был искренен. Зло таилось не во мне.

Я вспоминаю те трудности, с которыми столкнулся, когда вернулся на юг с репертуаром, значительно отличавшимся от того, которым я завоевал Париж. Я слишком удивил слушателей. Они думали, что я остался тем же, каким был раньше, перед отъездом. А я вернулся другим. Для меня эта перемена казалась эволюцией, прогрессом. Для публики это было изменой, предательством. Причиной всему была излишняя поспешность. Нужно было менять репертуар постепенно, исключая всякую неожиданность, резкость. Меня соблазнили «Опавшие листья», «Дети, которые любят друг друга» и другие поэмы Жака Превэра, положенные на музыку композитором Косма́. Произошло нечто похожее на взрыв бомбы. Я захотел насладиться радостью моего открытия немедленно, не подготовив почвы. А в результате получилось так, будто я отказался от моей прежней манеры исполнения, от моего прошлого. Этого публика не прощает.

В течение бесчисленных вечеров, наедине с самим собой, я старался понять, что же произошло. Я жалел о той благородной солидарности, которую ощущал раньше в Марселе, на «Средиземноморских верфях». Теперь мне приходилось сражаться без помощи друзей, и притом сражаться с тенями. Я не ощущал себя, как прежде, на гребне мощной волны. Мне не с кем было посоветоваться. В утешение мне оставались только искренние письма моих родных, в которые они вкладывали всю свою любовь ко мне. Я представлял себе, как они, собравшись вокруг стола, обдумывают и бесконечно обсуждают каждую фразу письма.

Этот трудный период длился два года. Теперь, когда я о нем вспоминаю, я думаю, что эти годы были для меня плодотворными. Я понял, что вкусы и пристрастия публики не рождаются самопроизвольно, что на них можно воздействовать, но для этого нужен соответствующий подход. Марксистская литература, кото-

рую я читал, во многом помогла мне, так как она учит, что в истории общества происходит нечто сходное.

Найдя, таким образом, логические причины моего поражения, я снова обрел надежду. Никакой злой демон не желал моей гибели. Дело было вовсе не во враждебном роке и не в палках, которые мне совали в колеса. По крайней мере, здесь не было ничего сверхчеловеческого. Мало-помалу, вместо того чтобы сожалеть о прошлом, я научился смотреть вперед, в будущее. Я снова занялся работой и начал репетировать. Я задумал несколько новых номеров. Я разработал новую программу.

Морально я уже оправился после поражения.

Радио, которое в значительной степени способствовало моей неудаче, на этот раз протянуло мне руку помощи. Я выступил с радиоконпозицией романа «Гроздь гнева», имея дело с великолепным текстом. Я часами слушал свои записи, исправляя ошибки, интонацию, неточности в выражениях.

Все это принесло свои плоды.

После этого я вернулся на сцену, правда сначала на частную. Я отправился в Канны петь для Риты Хейворд и Али-Хана, которые только что отпраздновали свадьбу и устроили праздник в своем замке. Потом я выступил в зале «Этуаль» в Париже, где публика не скрывала своей радости, видя меня снова. С недоразумением было покончено. Это было в 1949 году.

Иногда я разыгрываю из себя человека, которому всегда везло. Я вспоминаю только самые счастливые дни моей жизни. Я перескакиваю с одного такого дня на другой, словно перебираюсь через горный поток, прыгая с камня на камень. Я выдумываю себе таким образом идеальную, чудесную жизнь.

Счастливые дни — удивительный товар. Они ровно ничего не весят. Они держатся на поверхности памяти. Они бессмертны. Печально только то, что их не так уж много, хотя, вообще говоря, достаточно нескольких очень напряженных мгновений, чтобы сделать из заурядного серенького дня незабываемый день. Счастливые дни для каждого нечто вроде великолепного

флота, который под праздничными вымпелами плавает по споконному морю. На эти корабли приходится смотреть в бинокль, потому что они все время удаляются, не исчезая, однако, из поля зрения. Смотришь и невольно восхищаешься. «Какой это был великолепный день! Я был в тот день так счастлив! Я мог держать пари на что угодно, что он никогда не кончится! Казалось, огромный, как вселенная, он будет длиться вечно, и я без конца его буду исследовать, как путешественник новую землю...» И вдруг — хоп! — счастливые дни оказываются кораблями, которые всегда отплывают без нас и которые с помощью бинокля рассматриваешь во всех подробностях, когда они уже далеко. Мы, как адмиралы этих мирных флотилий, следим с берега за своими кораблями, которые делаются все меньше и меньше и в конце концов превращаются в крохотные точки, едва различимые на натянутой струне горизонта...

Двор, залитый солнцем, старые домики с чешуей черепичных крыш, хоровод тропинок... Это Прованс. Ветер дует так бережно, что ничто не шелохнется.

Посреди двора, окруженная легкокрылыми голубями, стоит молодая женщина. У нее необычайно светлые волосы. На ней синие брюки, воротник легкой кофточки расстегнут. Она улыбается точь-в-точь как улыбаются девушки на старинных картинах итальянских мастеров. Я знаю, что ее зовут Симона Синьорé; я никогда не видел картин, в которых она снималась; я не знаком с ней, но я знаю, что сейчас подойду к ней, стараясь не вспугнуть голубей, и скажу ей две-три фразы, — просто так, все равно какие две-три фразы, чтобы она повернулась ко мне, две-три фразы, так, чтобы не вспугнуть голубей...

Это было в Сен-Поль-де-Ванс в 1949. С этого дня мы больше никогда не расставались, мы стали мужем и женой. Это был счастливый день. И всякий раз, когда я вспоминаю его, передо мной возникают светлые волосы, блики солнца, голуби и Симона в то самое мгновение, когда она взглянула на меня и поняла, что я иду к ней.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Турне, записи на пластинки, выступления, концерты. Работы по горло! Дни, плотные и стремительные, катятся, как бильярдные шары, и, как бильярдные шары, исчезают, точно падают в лузы.

Дни-шары падают в лузы, а ты отмечаешь пятьдесят, или сто, или пятьсот, или тысячу очков. Дни-шары

похожи один на другой; если бы не лузы, в которые они проваливаются, можно бы было подумать, что это один и тот же день, который все время начинается снова. Сто очков — это неплохо, пятьсот — это уже хорошо, пятьдесят — неудача, а если выпадает тысяча, значит жизнь прекрасна. Обычно бывает много средних дней, но ты все равно дорожишь этой игрой на бильярде. Эти дни, которые вас ждут со своими бледными рассветами, — великолепная штука! И независимо от счета очков — это большая игра. Те, кто выброшен из игры, уходят не без сожаления: об этом красноречиво рассказывают все фильмы. Игра стоит свеч даже тогда, когда у тебя нет времени передохнуть; в этом можно убедиться, глядя на лица тех, кто уходит, это видно по их глазам: они согласны еще играть, даже если впереди их ждут только пятьдесят очков.

Два года спустя после моего возвращения на сцену дни-шары опять начали у меня ложиться удачно. Я могу сказать это без всякой гордости, потому что не все дело в ловкости игрока, кое-что значит и везение. Концерты, записи на пластинки, выступления по радио... Я опять пошел в гору и уже ощущал результаты своей работы. Так продолжалось вплоть до 1951 года, когда Клузо предложил мне сниматься в фильме «Плата за страх».

Неудачное выступление в картине «Двери в ночь» не поссорило меня с кино. Напротив, вместо того чтобы испытывать почтительный страх перед ним, я бессознательно стремился взять реванш. Но теперь я решил быть умнее.

Клузо начал меня подготавливать заранее. Он заставил меня работать над текстами Жана Ануй, нарочно выбирая те отрывки, которые меньше всего соответствовали моим внешним данным, чтобы я рассчитывал только на свой голос.

В начале это казалось мне забавным, к тому же текст был превосходный, но потом бесконечное пережевывание фраз превратилось для меня в скучнейшее занятие. Я запирался в комнате и громко декламировал свои тирады. Я страшно фальшивил и чувствовал себя в положении мальчишки, который внезапно ока-

зался за банкетным столом и не знает, как пользоваться изысканной сервировкой. (Такой случай однажды произошел со мной, когда я начинал дебютировать в Париже.) Я злился. Я курил папиросы и нервничал как дуэлянт. Но потом, наконец, произошел перелом, и фразы полились, как будто я их только что импровизировал, как будто это были мои собственные слова. Я мог теперь предстать перед Клузо с чистой совестью, как ученик, который выучил свой урок.

Съемка картины заняла несколько месяцев. Это была тяжелая работа. Было много натуральных съемок, где нужно все делать по-настоящему, а не играть, как в комнатах с раздвижными стенами и бутафорской мебелью.

Как и герой «Дверей в ночь», человек, которого я изображал теперь, по мере действия должен был эволюционировать. Его образ окончательно выявляется только во второй части картины, когда он уже сидит за рулем грузовика. Пожалуй, именно эта эволюция образа требует от актера самой напряженной работы, потому что он должен выражать ее в отдельных эпизодах, психологическая последовательность которых нарушена специфическим планом съемки с ее железными законами.

К счастью, странное состояние растерянности, в котором я находился, когда снимали «Двери в ночь», теперь исчезло. Я больше не чувствовал себя жалкой игрушкой среди этой враждебной и придирчивой техники. Работая в коллективе, под жгучим солнцем Камарга *, я снова узнал великое чувство солидарности, знакомое мне в былые времена.

Картине «Плата за страх» посчастливилось. Этот фильм сделал сборы, привлек толпы зрителей и заслужил одобрение большинства критиков.

Пришла заслуженная слава, и мы, актеры, разделили ее по справедливости.

Но мне пора уже было вернуться к песням.

Самая удобная форма для выступлений в мюзикхолле — это сольный концерт. Смешанные концерты,

* Камарг — город на юге Франции.

состоящие из двух отделений, имеют некоторое преимущество, но одновременно и свои недостатки. Составить программу из хороших акробатов, фокусников, жонглеров, танцоров на проволоке и воздушных гимнастов крайне трудно, потому что лучшие из них закреплены за большими цирками: только там этим актерам может быть обеспечена надлежащая оплата. А без них, если я выступаю лишь во втором отделении концерта, мне бывает трудно расшевелить публику, которая проскучала все первое отделение.

Подготовка сольного концерта — занятие очень увлекательное и не терпящее никакой небрежности. Ведь сольный концерт — это сражение одного певца с целым залом! Малейшее упущение не замедлит привести вас к поражению. Импровизация до какой-то степени может обмануть сотню людей, сидящих перед подмостками, на которых выступают любители, но она не пройдет на концерте перед тысячью придирчивых зрителей.

Работа над каждой песней, шлифовка отдельных фраз важны, но не менее важно и то, какое место занимает эта песня в программе. Номера должны быть подобраны так, чтобы интерес к ним все время возрастал. Надо внимательно относиться к паузам, которые необходимы для передышки. Желательно, чтобы номера были объединены общей темой, но вместе с тем не казались однообразными.

Мизансцены, освещение, наконец аккомпанемент — все это совершенствуется только после многократных и разносторонних репетиций, где каждый из участников может высказываться и вносить свои предложения. Иной раз улучшение каких-то мелочей, на которые никто никогда не обращал внимания, дает поразительные результаты.

Я люблю размышлять об этих незначительных мелочах перед тем, как заснуть. И почему-то именно в эти минуты, когда сон незаметно подкрадывается ко мне, меня иногда, как молния, озаряет решение какой-нибудь простой задачи, над которой я давно ломал себе голову.

В одну из таких ночей я придумал трюк с тюлевым

занавесом. Мне не хотелось помещать музыкантов в оркестровую яму между мной и публикой, чтобы музыка не заглушала слова. Нужно было каким-то способом поднять музыкантов на сцену. Но там их активное пребывание отвлекало бы внимание зрителей и вредно отзывалось бы на целостности концерта. И тут я подумал о тюлевом занавесе, который скрыл бы музыкантов от публики, не скрадывая музыки. Впоследствии оказалось, что этот способ оправдывает себя полностью и его переняли у меня многие другие певцы. Впрочем, несколько лукавых и хитроумных критиков быстро сделали из этого вывод, что я стараюсь умалить, принизить роль музыкантов. Может статься, что те же критики, чего доброго, потребуют, чтобы на сцену посадили и мастеров, которые сделали музыкальные инструменты, и тех преподавателей, которые обучили музыкантов играть, не говоря уже об авторах текста, композиторах, электриках и всем населении нашей планеты. Но я сам знаю, как нужно вести себя по отношению к своим друзьям! Потому что мои аккомпаниаторы — это прежде всего мои друзья, и некоторые из них, как, например, гитарист Анри Кролла́, пианист Боб Каstellá, работают со мной уже несколько лет. Контрабасист Судьё, ударник Парабоши́ и аккордеонист Фредди Балта́ тоже мои старые приятели.

Мои последние сольные концерты в зале «Этуаль» продолжались шесть месяцев: с 5 октября по 5 апреля 1954 года. Их посетило около двухсот тысяч человек. Чистый сбор достиг ста восемнадцати миллионов франков. Чтобы собрать такую сумму, театры вроде «Капуцина» или «Нувотэ» должны были бы давать представления в течение полутора лет.

Я не был приучен в детстве подводить счастливые итоги, и у меня никогда в жизни не бывало больших денег. До сих пор я не перестаю удивляться успеху. Я думаю, что ни один артист не остается равнодушным к впечатлению, которое он производит на тысячи незнакомых зрителей. Это происходит не столько от гордости, сколько от удовлетворения, что твой труд оценен по заслугам. К тому же эта крайняя чувствительность к реакции публики заставляет меня делать мою рабо-

ту с максимальной добросовестностью. Трудно быть вполне довольным собой. Не менее трудно удовлетворить зрителей.

Шесть месяцев непрерывных выступлений означали еще одно достижение. Двести раз я побеждал страх, а для этого надо управлять своими нервами, дыханием и мускулами. Теперь я знаю, что для успеха необходимо также иметь здоровый организм.

Эти шесть месяцев тяжелой работы улеглись теперь в подвалах моей памяти и стареют там, как доброе вино. Я надеюсь еще раз выступить с этой программой в Париже в 1957 году, когда возвращусь из кругосветного путешествия, которое я собираюсь предпринять. Надеюсь, что мне удастся посетить Москву, а затем Нью-Йорк, побывав проездом в Китае.

Я никогда не думал о театре, пока мне не предложили роль в «Салемских колдуньях». Для театра еще более, чем для кино, нужна продолжительная подготовка. Эта школа мастерства, все значение которой выражает торжественное слово «Консерватория»*, ничего общего не имеет со школой жизни, которую я прошел.

А. М. Жюльен прежде всего заставил меня и Симону прочесть пьесу Артура Миллера в обработке Марселя Эйме. Она захватывающе интересна, и поднятая в ней проблема чрезвычайно актуальна. Речь идет о несправедливых преследованиях. Вначале Симоне была предложена роль испорченной девчонки, которая является вдохновительницей кровавого психоза, но Симона предпочла роль Элизабет Проктор, более соответствующую ее вкусам. Я должен был играть Джона Проктора, ее мужа, который стал жертвой изворотливого вероломства судей.

Мы могли лишь горячо радоваться этому опыту. Нам, мужу и жене, предстояло вместе сделать первые шаги в театре. Нам выпало счастье дебютировать в превосходной пьесе, переведенной Марселем Эйме

* Во Франции в консерватории обучают и драматическому искусству.

и поставленной выдающимся режиссером Раймондом Руло. Этого было более чем достаточно, чтобы согласиться.

Репетиции длились два месяца. Работали мы с энтузиазмом, и я ни разу не почувствовал того отчаяния, которое охватывало меня в ту пору, когда я зубрил свою роль для «Платы за страх».

Чтобы не утратить свежести восприятия, когда придется работать над окончательным текстом пьесы, которая к тому же еще не была дописана, я занялся пока классическими текстами. В тех случаях, когда Франсуа Перье, Серж Реджиани или Симона не могли подавать мне реплик, мне помогала моя сестра. Таким образом я познакомился с Альцестом, Филинтом, Скапенем, Жеронтом и Гарпагоном, о которых прежде ничего не слышал. В самой обычной домашней обстановке — перебрасываясь фразами за обедом, разговаривая по телефону, рассказывая какой-нибудь случай — мы старались объясняться их языком. «Прошу, подайте соль, что под рукой у вас...», «Сударыня, он ваш спаситель!..», «Сударь, как приятно вас лицедреть среди нас!..» Жеманные маркизы нас немало забавляли.

Раймонд Руло обучил меня тысяче разных вещей, которые могут показаться смешными, но которые профессионально необходимы для актера театра. Он исправил мой акцент, разъяснил мне тайну буквы «е» в конце слов, тайну, которой южане не знают. Он указал мне, что в пении я пропускал эти мешающие мне «е», сам того не замечая, однако в разговорной речи снова начинал их произносить. Он научил меня, как избавиться от этих «е», недопустимых для Джона Проктора.

«Салемские колдуньи» идут на сцене уже год и неизменно пользуются успехом.

Мое вступление в театр вместе с Симоной Синьоре, работа в замечательной труппе — все это доставило мне большое удовлетворение. Но это, конечно, не означает, что я возомнил себя сверхчеловеком или гениальным актером. Я просто был счастлив лишний раз убедиться, что систематическая работа всегда приносит свои плоды.

Когда моя мать давала волю мечтам, ей всегда рисовался собственный дом.

Она могла бы описать его во всех подробностях, указать цвет ставен, расположение печей, число окон, не позабыть и красную герань на подоконниках. Так как мы всегда ютились в тесноте, в грязных кварталах, мать, по контрасту, мечтала о просторном загородном доме, который овеивается ветром, приносящим запахи трав и полевых цветов. Возле дома непременно должны были пастись коровы и овцы. Но она не обольщала себя миражем. Миражи, которые в таких случаях создает воображение, всегда являют взору тенистую аллею, и аллея эта бесконечно удлиняется по мере того, как по ней идешь, а дом так и остается недостижимым.

Мама говорила нам:

— Дети, все может быть, и если у вас когда-нибудь заведутся деньги, прежде всего купите себе домик.

И мы обещали себе, когда разбогатеем, приобрести какой-нибудь замок позатейливей, с башенками и статуями в нишах, расположенный на крутом холме, окруженный зелеными полями, девственными лесами и лугами, по которым бродят бесчисленные стада. Но действительность предлагала нам лишь заводские трубы, извергающие дым, вонючие сточные канавы, облупленные, словно изъеденные проказой, стены и заброшенные мусорные ящики. Замки и цветущие луга отодвигались в недоступную даль, в неведомые райские края и становились похожими на крохотные картинки, какие можно увидеть, если, прищурившись, посмотреть в стеклянный глазок на костяной ручке для перьев. Такие ручки с фокусом предназначаются специально для туристов, увлекающихся оптическими иллюзиями.

Мысль приобрести собственный домик, которую заронили во мне мечты моей матери, созрела лишь много лет спустя. Молодежь предпочитает богемные мансарды, под крышами которых согласно укоренившемуся мифу рождаются гениальные идеи, и с презрением говорит о спокойном доме, где не случается никаких происшествий. Романтика юности — это такая игрушка, с которой нелегко расстаться.

Но вот в прошлом году и я вдруг по примеру остепенившихся людей стал мечтать о простом, обширном и приветливом деревенском доме. Симона призналась мне, что думает о том же самом. Мы начали обсуждать наши проекты и спорить: ей хотелось, чтобы у нас были серые ставни, а мне — зеленые. Но мы сходимись на том, что вокруг дома должна расти жимолость или дикий виноград, листья которого становятся густокрасными осенью, и что надо развести кур, и что нужна ферма... Как только мои выступления в театре «Этуаль» закончились, мы пустились на поиски нашего будущего дома.

Наши вкусы были непритязательны, и о том, что нам нужно, мы имели довольно смутное понятие. Дом представлялся нам таким, каким его рисуют дети: удлинённый прямоугольник, крыша в форме трапеции, трубы, окна, расположенные строго на одной линии, — все очень симметрично. Именно такой дом мы нашли в Эре. Нам оставалось только купить ферму, которая примыкала к этому дому.

Иметь добротный дом не просто идиллия. На него рассчитываешь, как на крепость, как на верный приют в дни несчастья, которое всегда может застать врасплох. Я поселил двух моих приятелей на ферме, где даже хлев и овчарня устроены с современным комфортом. Толковые, работающие люди, они прекрасно справляются со всем хозяйством.

Этот дом вполне удобен и для нашего отдыха и для приема друзей. Причуды Бернара Блиэра, проделки Франсуа Перье, безумства Пьера Брассера, порывы Сержа Реджиани, молчаливость Роже Пигó, шотландское обаяние Жака Беккера — все находит здесь свое место, когда приезжают к нам в гости. Что же до Симоны и меня, то мы, более эгоистичные, прячем здесь свое счастье.

В нашем обществе, о котором по меньшей мере можно сказать, что оно оставляет желать много лучшего, с деньгами связаны широко распространенные и глубоко укоренившиеся предрассудки. Беда в том, что для всех есть нечто мистическое в недостижимых банковских билетах, подобных птицам, следя за полетом кото-

рых, авгуры былых времен изрекали свои прорицания. На меня деньги свалились совершенно неожиданно, и я смог купить этот дом. Но это не означает, что я стал одним из поклонников золотого тельца. Бедность создает привычки, от которых трудно избавиться, и налагает обязательства, которые нельзя с себя снять. Богатство может изменить обстановку, в которой вы живете, но не обязательно меняет самого человека.

Людам, рожденным в довольстве, может показаться смешным, что я, выросший в нужде, несколько неумело обращаюсь с деньгами. Я их трачу нелепо и иногда расточительно. Например, я купил себе две дюжины пар белья, чтобы преодолеть свою пассивность, заставлявшую меня попрежнему обходиться всего четырьмя парами. Точно так же я заказал себе сразу три костюма, чтобы избавиться от необходимости беречь единственный выходной.

В детстве я всегда мечтал о велосипеде. Чем недостижимее была эта мечта, тем более прекрасным я его себе представлял; он так и стоял у меня перед глазами, хромированный, с фонариками, динамкой и всякими техническими усовершенствованиями. Я знал, что никогда не смогу его приобрести, и горько об этом сожалел.

Теперь, наконец, я смог купить себе даже автомобиль и в нем воплотились все мои неосуществленные желания. Сперва я купил «Пакард». Просторная, мощная и комфортабельная машина позволяла мне отправляться на гастроли с Симоной и со всеми моими музыкантами. Но однажды я услышал горькие сетования рабочих, стоявших в очереди на автобус, и понял, что роскошь не должна быть вызывающей. Я продал «Пакард» и купил «Бентлей», машину более дорогую, но внешне более скромную. Из-за этой машины потом поднялась целая кампания в прессе.

Мне не хотелось бы говорить здесь о низости и недобросовестности. Но я знаю, что те самые газеты, которые на меня нападали, принадлежат людям, купающимся в роскоши и ни в чем себе не отказывающим, вплоть до целого штата лакеев. Я знаю, что эти люди никогда не упрекают других певцов и кинозвезд за сред-

ства передвижения, которыми они пользуются. И я знаю, что они же обвиняли бы меня в демагогии и саморекламе, если бы я ездил в дешевой малолитражке. Наконец не мне их учить, что в капиталистической стране артист поддерживает свой престиж, требуя от предпринимателя больших гонораров, потому что всякая уступчивость в этом вопросе будет расценена как признание своей бездарности.

Скандалное противоречие, усматриваемое ими в том, что я, народный певец, способен разбираться в автомобилях, свидетельствует гораздо более против мира, который они защищают, чем против меня. Ездить на машине марки «Бентлей» еще не означает быть негодяем. Впрочем, я отказался от этой чудесной машины и обзавелся маленьким, но сильным автобусом, который, кроме труппы, состоящей из музыкантов и меня, вмещает еще инструменты и багаж.

Только в этом году я выкинул старый многострадальный патефон, чтобы приобрести прекрасный магнитофон с четырьмя репродукторами, с переводом в разные тональности и ультрасовременными усовершенствованиями. Правда, в данном случае речь идет об инструменте, необходимом для моей работы, об орудии производства.

Мои политические симпатии ни для кого не секрет. И те, кто имеет глупость ставить их мне в упрек, должны вникнуть в следующее, прежде чем спорить.

Я был воспитан в рабочей среде. Я сам был рабочим, и работа моя была тяжелой. Я вкусил горечь самой откровенной эксплуатации. Я вложил мои надежды в идею революции, способной водворить социальную справедливость.

Если бы я даже теперь переменял фронт, отказавшись от своих убеждений, положение вещей от этого не изменилось бы. Нищета, несправедливость, неравноправие остались бы прежними. Я же считал бы себя предателем. Не думаю, что от этого мне бы жилось спокойнее. Я хочу, чтобы деньги, которые я получаю, не прибавляли бы горя людям. Я стараюсь также, чтобы мои песни были символом братской связи, служили паролем между товарищами.

Стать таким, каков я сейчас, мне было нелегко. Опыт придал мне твердость и здравый смысл. Под этим панцырем находит себе защиту душа. Я отнюдь не собираюсь уподобляться претенциозным господам известного пошиба, чье превосходство признано только ими самими. Смешно выдавать себя за полубога.

Восстанавливать в памяти свою жизнь, значит гнаться за самим собой. Этот бег начинается далеко-далеко, с неясной, почти стершейся линии старта. Бежишь к настоящему моменту. Примечаешь канавы и ямы на своем пути и чувствуешь себя счастливым, когда, наконец, поравнялся с тем, кем ты стал теперь, когда вспоминаешь пережитое. Прошлое всегда лабиринт, где легко сбиться с пути. В нем на каждом шагу развилки и перекрестки. Малейшее «если» трунит над пресловутым понятием судьбы: если бы я не согласился заработать пятьдесят франков, чтобы обеспечить себя сигаретами на неделю, я, наверное, до сих пор торчал бы в марсельской парикмахерской и выслушивал исповеди клиенток. Но вместо того в мою жизнь вошли Леденец со своими незатейливыми представлениями, Одифред со своей гастрольной шумихой, Париж с тысячью друзей, которых я приобрел при самых различных обстоятельствах, публика, признавшая меня, и масса незнакомых людей, которых хорошо было бы узнать поближе.

Я сижу сейчас в синем кресле. За окном течет Сена. Симона у телефона бесконечно спорит о чем-то с Пьером Превером. Рядом лежат газеты. В них объявления о выпуске картины, в которой я снимался шесть месяцев тому назад, «Герои устали». Другой фильм, выпущенный вслед за этим, «Ночная Маргарита» Отан-Лора, тоже скоро выйдет на экраны. В нем я играю роль дьявола. На мне шляпа и фрак, как у Фреда Астера. Сегодня вечером я играю в «Салемских колдуньях». Домой мы вернемся с Симоной пешком: мы живем совсем рядом с театром. Мой брат, который живет над нами, зайдет пожелать мне доброй ночи и сообщить по-

следние новости. Он попрежнему активно борется за рабочее дело. Мои родители сейчас, наверно, прогуливаются, молча любясь площадью Дофин, на которой играют и безустали возятся дети.

Сейчас я остановлю магнитофон, который так бережно собирает мои слова, словно это золотые самородки. Новая песенка, еще неясная, еще только намечающаяся, бродит у меня в голове. Со словами не ладится. С музыкой тоже не все гладко. Надо поработать, попробовать, подумать в свободные минуты. Придет день, когда эта песенка зазвучит и взовьется ввысь, как снап искр. Она, может быть, дойдет до слуха паренька лет семнадцати, и если она разбудит в нем какое-то пока смутное стремление и заставит этого неизвестного юношу подняться на подмости, — значит, она сделала свое дело.

Мне сейчас тридцать четыре года. Я сижу в синем кресле и я только что рассказал кое-что о своей жизни этой машине, которая крутится неумолимо и безостановочно, как наша планета.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	15
Глава вторая	32
Глава третья	46
Глава четвертая	68
Глава пятая	81
Глава шестая	99
Глава седьмая	119
Глава восьмая	139
Глава девятая	154
Глава десятая	170

Художник *Д. Бисти*

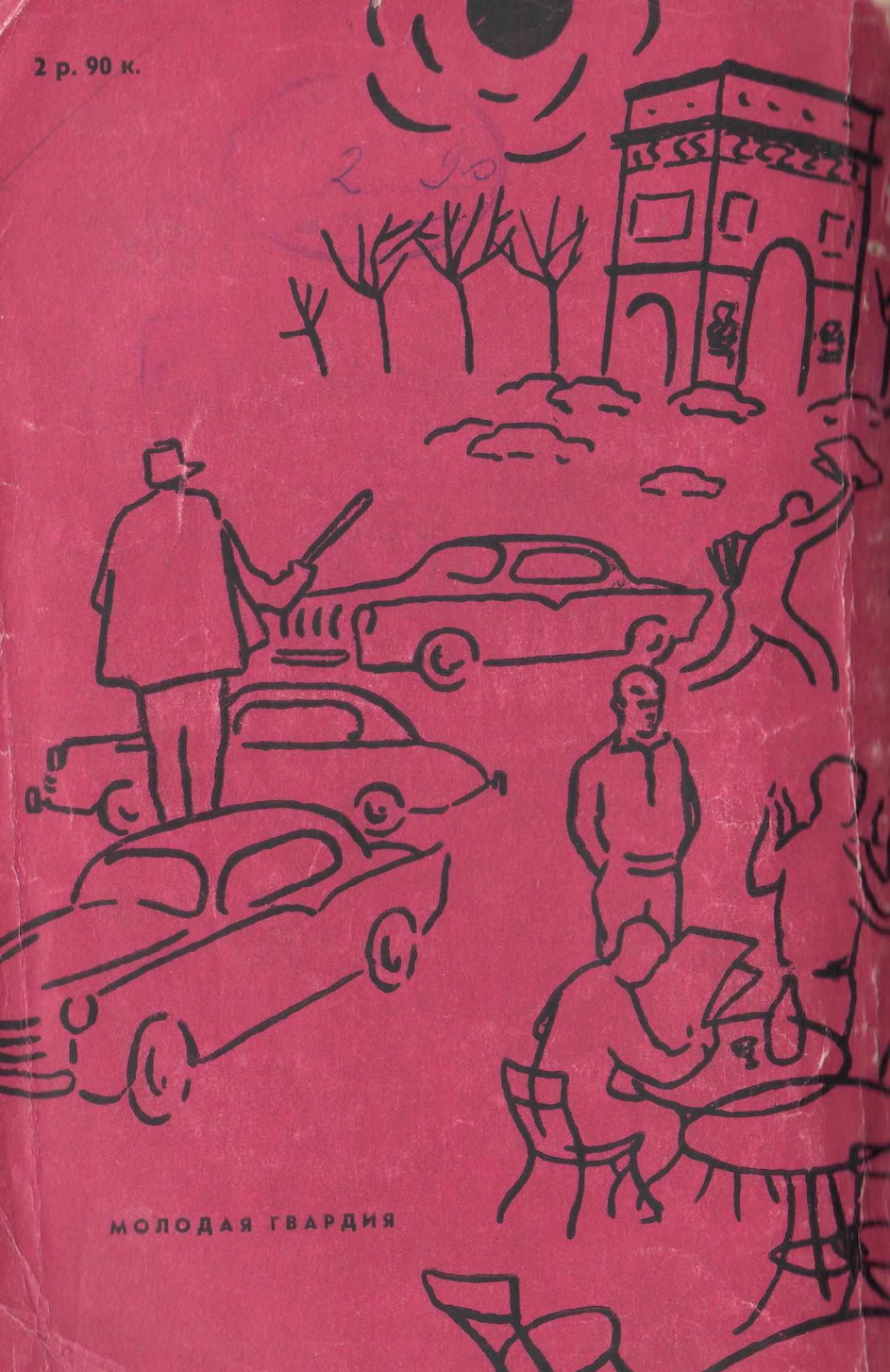
Из Монпан
СОЛНЦЕМ ПОЛНА ГОЛОВА

Редактор *М. Филатова*
Худож. редактор *А. Степанова*
Техн. редактор *И. Егорова*

A11198 Подп. к печати 16/XI 1956 г.
Бумага 84 × 108^{1/32} = 2,875 бум. л. =
= 9,43 печ. л. + 4 вклейки Уч.-изд. л. 8,89
Тираж 90.000 Цена 2 р. 90 к. Заказ 2349

Типография «Красное знамя» изд-ва
«Молодая гвардия». Москва, А-55,
Сущевская, 21.

2 р. 90 к.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ